

К-146 0452

Нина Веселова

Калина горькая



Нина Веселова

КАЛИНА ГОРЬКАЯ

Книга о жизни и творчестве
Василия Шукшина



Вологда
2014

УДК 821.161.1(47)(092)
ББК 83.3(2=Рус)6-8Шукшин
В38

Веселова Н.П.

В38 Калина горькая: книга о жизни и творчестве Василия Шукшина / Нина Веселова. – Вологда: Вологодская типография, 2014. – 282, [50] с., ил.

ISBN 978-5-902579-67-0

УДК 821.161.1(47)(092)
ББК 83.3(2=Рус)6-8Шукшин

ISBN 978-5-902579-67-0

© Веселова Н.П., 2014
© Оформление. ООО «Вологодская Типография», 2014



«Ты плакала-то?» – «Я плакала». – «А чего ты плачешь?» – «А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная Божья мать и плачу об вашей непутёвой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала»

Василий Шукшин «На кладбище»





ОТ АВТОРА

Случилось так, что юность мою осветила встреча с Василием Макаровичем Шукшиным.

По заданию областной газеты «Вологодский комсомолец» в 1973 году я написала репортаж со съёмок «Калины красной».

Потом в нашем издании впервые появился текст выступления Шукшина в Белозерске со знаменитыми словами «Нам бы про душу не забыть».

Незаметно традицией стало дважды в год – ко дню рождения и ко дню памяти Шукшина – давать в газете публикации, так или иначе связанные с его именем.

Мне приходилось брать интервью у тех, кто работал и дружил с Василием Макаровичем, был его земляком, последователем, поклонником творчества. Мне довелось не раз побывать на Алтае и общаться с родными Шукшина, а также быть свидетелем съёмок фильмов о нём.

Обо всём этом и о многом другом, что таит в себе прикосновение к имени нашего великого современника, повествует эта книга.

Многое из опубликованного в ней было написано давно, но по разным причинам не увидело свет. Обратившись к тек-





стам сегодня, я полагала, что рассказанное безнадёжно устарело. Но оказалось, что время минувшее по-прежнему живо в тех словах, что просились из души в былые годы.

И я осмелилась явить их читателю в надежде на искреннее сопереживание и понимание. Ведь сегодня всё явственное начинает звучать тоска по тем ценностям, которыми мы жили в шукшинскую эпоху. И то, что скоро они к нам вернутся, теперь несомненно.

Значит, народ снова потянетсѧ перечитывать книги и пересматривать фильмы Шукшина, чтобы обновить, очистить, упрочить свою душу.

Я была бы счастлива сознавать, что своей книгой хоть немного помогаю этому процессу.

*Книга создана в рамках деятельности
Регионального отделения
Всероссийского общественного
Движения «Матери России»
Вологодской области и народного
проекта «Калина красная»*



ЖИЛ ЧЕЛОВЕК



мотрели только что проявленный материал.

Шукшин сидел в мёртвой тишине зала, нога на ногу, и жёстко щурился на экран.

Там он в роли Егора Прокудина схватился за рану и осел на землю... Пётр-Ванин помчался на машине за помощью... Люба-Федосеева в слезах склонилась над Егором-Шукшиным... А он вздрогнул в последний раз и успокоился...

Без комментариев пошёл второй дубль: Прокудин снова схватился за рану и осел на землю... Снова Пётр помчался на машине за помощью... Люба в слезах опять склонилась над Егором... А он вздрогнул прощально и успокоился...

Не нравились Шукшину эти дубли!! Что тогда творилось в его душе – неведомо, но он сказал в темноту с вызовом:

– А отбирать кто будет? Эйзенштейн?!

– Эйнштейн! – ответили нервно.

И я поспешила покинуть зал.

А в памяти всё крутилось и крутилось потом, как оседает на землю сражённый подлой пулей Прокудин-Шукшин...

Где развеялись по свету боль его и сила? В ком родились, продолжены, светлые его думы?

Об этом хочу говорить. Потому что видела, как вставал Шукшин – оживший – и там, и тут: всюду, где помнят его люди.

Дубль! Ещё дубль!



Глава ПЕРВАЯ УСЛОВИЯ ИГРЫ

В тот май утопал Белозерск в черемухе. И теперь так случается каждую весну, хоть никогда больше не пройдёт по его улицам Шукшин. Но тогда казалось – всё цветёт так яростно для него, благодаря ему, в помощь ему.

Вот летний номер моей родной газеты «Вологодский комсомолец» за 1973 год. На последней странице «шапкой» набрано: Василий Шукшин снимает под Белозерском фильм «Калина красная». Это было событием, и редакция предоставила мне под репортаж целую полосу.

Позже мы первыми опубликуем запись выступления Шукшина в Белозерске – того самого, со знаменитой фразой «Нам бы про душу не забыть...»

А в те летние дни я оказывалась всюду, где работала съёмочная группа. Помню толпу белозёров на берегу канала. Вечер. Висит над собором луна. В тишине шумят накалённые диги, стрекочет мотор камеры.

Шукшин-Прокудин только что бежал по закоулкам ночного города, прятался под берег и снова, попавшись на глаза милиционерам, удирал через огороды, парки, дворы. Теперь он измученно прислоняется спиной к стене сарая. Шаги погони затихли. Машинально включив транзистор, он вертит ручку и смотрит куда-то застывшим взором – то ли во тьму, то ли вглубь себя. Уличный фонарь высвечивает его колючие загнанные глаза. Помните: свет-тень, свет-тень на измученном лице Прокудина.

Возвращалась группа со съёмок поздно, даже бледная северная ночь уже съедала краски. И только деревянный Дом крестьянина светился белыми резными наличниками.

Хлопали дверцы автобуса, выгружалась аппаратура, и долго еще возносились над спящим городом бодрые голоса. А Шукшин, пожелав всем спокойной ночи, исчезал.



Вот записанные мной для «Вологодского комсомольца» в 1977 году воспоминания актёра Ивана Петровича Рыжова:

«Когда на съёмках «Калины красной» я узнал, что он и тут умудряется писать, – при том, что он ещё и актёр, и режиссёр, – я спросил, когда он успевает.

– А ночи-то белые. Все уснут, а я – на подоконник и пишу».

Видела сама, знаю, как вздрагивали пальцы Василия Марковича от напряжения, в котором он жил тогда. Только на кофе и держался.

«Эта внутренняя собранность, сконцентрированность делали его внешне неприступным, – вспоминал Иван Рыжов. – Сам он не стремился к лишним контактам, потому и праздные люди не липли к нему».

Что правда, то правда. Внешне он был скромнее многих в съёмочной группе, и за режиссёра его принимали редко. Когда же кто-то был особо назойлив, мог Шукшин и оборвать. При этом не считался ни с рангом, ни с полом.

Оригинальное и честное свидетельство тому – сохранённая корреспондентом «Недели» Н.Лордкипанидзе объяснительная записка В.Шукшина в её адрес:

«Есть моменты в игре, которые касаются неких сокровенных сторон души. И вот я многих миллионов не боюсь, а трёх-четырёх, которые на меня смотрят, их я чувствую и прошу уйти. Особенно это касается мест, когда я выхожу на заведомую импровизацию. Возможна первая неудача, и оттого, что её подсмотрели, дальнейший поиск может быть затруднён. Когда же кусок обдуман, проигран в душе много раз, – я не боюсь никаких наблюдений, даже лишний раз краем глаза проверяю игру. Иногда же кусок надо импровизировать, как бог на душу положит, и важно не спугнуть эту импровизацию. Поэтому и желательно, чтоб меньшие смотрели».

На мою командировку не выпало столь важных сцен. И всё же, когда я обрадовалась возможности пройти вместе с Шукшиным до съёмочной площадки, он сказал через десять шагов:

— Мне надо одному побывать... Не обижайтесь!
Как хочется всем нам заглянуть в таинственные глубины творчества, что-то там разглядеть!

Невозможно это. И не надо.

Теперь, взрослым умом, понимаю, что ничего никакими вопросами к *такому* человеку ни себе, ни людям не прояснишь.

Знаю: надо просто благодарить Бога, что пересеклась судьба твоя – случайно ли, закономерно ли – с его судьбою...

В 1977-м, слушая Ивана Петровича Рыжова, я вспомнила тот неловкий момент и светло позавидовала тем, кому посчастливилось не «подглядывать» Шукшина, а делать с ним одно дело.

«Помню такой случай, – говорил Рыжов. – Съёмки были недалеко от города, нас возили на автобусе, потом я приоровился ходить пешком. Однажды днём Шукшин подошёл и спросил:

– Можно я пойду с тобой?

– Можно, – удивился я.

Вечером он зашёл за мной и сказал:

– Ну, пошли.

И мы пошли.

Я хотел, чтобы он заговорил. А он молчал.

Когда мы пришли, он сказал:

– Ну, пришли.

На другой день жена его Лидия Николаевна Федосеева спросила, о чём таком мы разговаривали по дороге: у Василия Макаровича, мол, было прекрасное настроение, и он говорил: «Как хорошо ходить с Иваном».

Я так и ответил, что, когда мы пошли, он сказал: «Ну, пошли», а когда пришли, он сказал: «Ну, пришли».

У меня сложилось впечатление, что они очень схожи с Василием Ивановичем Беловым и что им очень хорошо было вместе. Один раз мне довелось видеть их парой, они сидели и молчали. Я долго ёрзал, испытывал неловкость, всё посматривал на них. Потом спросил:

– Чего молчите-то, мужики? Может, мешаю я, так скажите.

– Зачем мешаешь? Нет. Молчим вот, и хорошо».

Деревенька Садовая на горушке. Приветливые домики, яблони в цвету, а внизу – озеро, как блюдце.



Там довелось мне помолчать рядом с Шукшиным. Он ждал начала съёмок и сидел на крыльце баньки, то землю разглядывал, то свои узловатые пальцы. Иногда вздыхал или затягивал «Дубинушку». Потом резко обрывал вдруг и поднимался:

— Готовы? Попробуем!

Он включался в жизнь так мгновенно, так мощно, словно и не уходил в себя.

Но и в те минуты, когда Василий Макарович молчал, чувствовалось, что от него исходит сильнейшая энергия, которая захватывает и тебя, — и какой-то неслышимый диалог происходит меж вами...

Иногда это «говорящее молчание» длилось очень долго.

«Как-то навестил я Шукшина в больнице, — вспоминал И. Рыжов, — и попросил он меня рассказать какой-нибудь из ряда вон выходящий случай. Я вспомнил, как в детстве я заболел тифом, как мать, накрыв меня туалупом, шептала Господу:

— Прибери его!

А я — маленький и больной, но сообразил — шептал про себя:

— Не прибирай меня, Господи, не надо...

Что это: материнская жалость или жестокость? Мы не решили тогда.

Прошло много времени, и однажды ни с того, ни с сего Василий Макарович спросил:

— А ты у матери узнал, почему она тогда так говорила?

Прошло ещё много времени, я уже забыл об этом случае, как вдруг Шукшин, будто мы и не прекращали разговора, сказал:

— Я думаю, всё-таки жалость это...

Потом я понял его и предупреждал всех: не рассказывайте ему о своих бедах, не надо, он будет ходить и помнить, и переживать, будто это его несчастье».

«Очень нравилось мне работать с ним, — говорила актриса Мария Савельевна Скворцова (С ней, И. Рыжовым и художником картины «Калина красная» И. Новодерёжкиным мы общались в Вологде во время съёмок фильма по повести Василия



Белова «Целуются зори»). – Я чувствовала внутри какой-то небывалым подъём, какое-то ликование, восхищение жизнью, что ли. Теперь я понимаю, что это шло от самого Шукшина, оттого, что он был рядом и уже фактом своего существования окрашивал всё вокруг в другой цвет.

При нём нельзя было хитрить, лениться, идти на сделки со своей совестью – всё становилось явным и постыдным, даже если он ничего не сказал, просто посмотрел. Рядом с ним люди очищались, сбрасывали с себя всё наносное, неискреннее. Потому и жизнь, наверное, представлялась прекрасной и первозданно чистой.

Василий Макарович, мне кажется, всегда тяготился тем, что ему приходилось быть в центре внимания, что многиевольно или невольно подчёркивали его положение. Мне запомнилось, как он отказывался, чтобы его первым со съёмок отвезли домой. В группе было много пожилых, измученных за день людей, он помнил о них, ощущал их усталость. Кто-нибудь посчитает, что это мелочь и что я стремлюсь приукрасить, как это нередко бывает в воспоминаниях. Для кого-то это действительно мелочь, несущественно, для кого-то это не закон жизни. А Шукшин в этом весь, и подобные вещи говорят мне о человеке во много раз больше, чем простиранные рассуждения о доброте и чуткости.

Я сильно волновалась на съёмках, боялась расстроить Василия Макаровича, дать повод разочароваться в моей работе. И однажды от напряжения перепутала текст. А дни были трудные, Шукшин много нервничал. Да и снимали мы на очень дорогой, особо чувствительной пленке. А я её испортила! Вот тогда – единственный раз – Василий Макарович не удержался и сказал, тихо так, с досадой:

– Ну, Марья Савельевича! Неужели вы не могли запомнить три слова?

Стыдно мне было. И когда на другой день я проходила мимо его комнаты, то вздрогнула, увидев в открытую дверь Шукшина. Он окликнул меня, вышел в коридор и неожиданно обнял и поцеловал.

– Марья Савельевна, простите, что я не сдержался вчера. Простите, пожалуйста.

Так всё внутри у меня и сжалось, и заныло. Какое-то материнское горячее чувство шевельнулось к этому человеку».

Удивительно, сколько противоречивых мнений бытовало о Шукшине! Люди говорить о его колючести, холодности,



заносчивости, резкости... А не принимал ли он условия игры, которые ему предлагались?

Ясный и доверчивый был он среди добрых людей – не ждал ниоткуда подвоха. Сидел в деревнях со стариками на брёвнышках, и они разговаривали с ним на равных.

Память о таком Шукшине долго будет жить в человеческих сердцах. И мы постарались запечатлеть её по «горячим следам». Через шесть лет после его смерти приехали в Белозерский район Вологодчины на места съёмок с магнитофоном и простенькой плёночной камерой, которой владел Юрий Половников, кинолюбитель из-под Вологды.

– Опять «Красную калину» ставить будут! – разнеслось по округе.

Мы не спорили и не вдавались в объяснения, ведь наши попытки и впрямь были производными от «Калины...». Пусть же она продолжится! А назовём мы наш фильм «Воспоминания в октябре» – потому что стоял октябрь, и горела на Руси калина.

Из деревни Орлово привели нас местные жители на не-приметное поле, перепаханное к зиме. Озеро рядом, над ним чайки кричат.

«Мне запомнилось, как мы выбирали место, где должен был умирать Егор Прокудин, – вспоминал Ипполит Новодерёжкин. – Казалось, всё, как надо: и природа величественная, и дали необъятные, можно показать перспективу, опрокинутое небо, как это обычно бывает. А Шукшин двигал желваками, хмурился и молчал. И когда уже почти все решили, он вдруг взорвался:

– Да почему же именно так?! Почему он не может умереть по-человечески, вот здесь хотя бы, в пыли, не подчиняясь никаким законам?»

Так и умер Прокудин – на маленьком поле, которое вспахал, и над которым кружились чайки.

Когда его пашут теперь, вспоминают Шукшина.

И когда идут орловские доярки на ферму, нет-нет, да и подумают о Любке Байкаловой – ведь «работала» она на их ферме.



Забредут по лету в памятный березняк – где мечтал Прокудин о новой жизни, но никто не смеет обломить с «шукшинских» берёзок ни веточки...

По деревне Тимонино нас водили Ольга Матвеевна Кузнецова, Мария Григорьевна Андреева и Ольга Леонтьевна Батулина.

Помните светлый и радостный кадр в «Калине...» – когда приехал Егор к Любке, и встречает она его на остановке?

– Вот это автобусная ихняя, они строили, – показывали нам будку. – Это ихняя память осталась.

Вокруг Тимонинского сельского клуба, оказывается, сорудили для фильма веранду – получилась «Чайная», куда Люба приводит Егора для разговора. Помните, сидят они вдвоем – «как два волоска на лысине», по выражению Егора.

– Я ещё морсую им налажала, сколько клюквы-то издер жала!

Смеялись женщины, и в их воспоминаниях было столько детской радости! В кои веки в их размеженную жизнь ворвалось эхо большого мира – и они оказались нужны и помогали делать кино.

– Обедали там, за клубом, под яблоням. Василей-то Маркович дал мне порцию, я тут вместе с имя пообедала. Потом он обратно ко мне в дом зашёл. Увидел у меня такую карточку – три сестры, Вера, Надя и Любовь. Они у меня эту карточку забрали, и потом была она в кино... Они тут у меня и жили. И дом мой сфотографировали. Даже вишни цвели в тот момент, дак дом что молоком обдёрнут был!

– А что, Ольга, я кино смотрела два раза, разве дом твой был?

– Нет уж, мой дом был, мой дом был!

– А как они в байне-то мылись, да нагой-то побежал! Хаха-ха!

– Ага, с веником.



– А сколько народу было, когда «Калину красную» объявили! Полнёхонек клуб был!

Быть может, только «Калина...»? Нет, не только по ней знают Шукшина в белозерских деревнях.

– Я дак помню его в кино «У озера», потом «Чулочки-лавочки»... Ой, «Печки-лавочки»! Как она из чулок деньги-ти вынимала, евонная жена... «Два Федора». А вчера вот – шёл Бондарчук, и Шукшин вышел.

– «Они сражались за Родину»!

– Да! А ёщё, кажись, по книжке ли, что ли, говорили, что он будет эту, «Разина»-то ставить. А вот у него смерть-то и подошла. Жалко его!

– Жалко. Он такой простой был. Вот придёт ко мне и сидит, сидит, сидит...

– В сапогах ходил.

– Ага. Какой-то он... Вот не видал никого, а разговаривал, как век свой здесь жил.

– Хорошим людям долгой жизни нету...

«Но почему так?!» – хотелось воскликнуть. А на память приходили его же, Шукшина, слова:

«...жалеют...мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей».

Зато сколько боли добавляет в неё каждая новая нота воспоминаний!

В деревне Садовой приветил нас старик Василий Фёдорович Голубев.

– Для нас дак очень хороший был он начальник! – на свой лад переделал Василий Фёдорович слово «режиссёр». – Ничего никого не оскорбляли, честно всё, в деревне ни один не обидится. Всё лето здесь они проживали. Тут было – ой, потеха! Я-то каждый день на пастбище находился, животноводом был. Они пораз меня вечером спросили: сколь рано скот пойдёт? Я говорю: вот во столько. Давай договоримся,



начальник-то бает, нам интересно ваш скот послушать, как скот мырчит. Собрались оне, значит, а в этот день, как на грех подошло, ничего не получилось!

– Не мычали?

– Не мырчали! – горестно сожалел дед, точно только вчера случилась такая незадача.

– Потом специально автобус приезжал за народом, – словоохотливо добавил он. – Все старые и малые ездили. Ну, председатель, значит, команду, что дать автобус, «Красную калину» посмотреть чтобы.

– Понравилось?

– А хорошо, дак хорошо, как скажешь – худо?!

Довольный дед улыбался нам, и одно ухо на его ушанке задиристо торчало.

«Существуют два понятия – правда жизни и правда искусства, – говорил для нашей газеты в 1977 году художник «Калины...» Ипполит Николаевич Новодерёжкин. – Существуют они давно, давно признаны и исповедуются. Шукшина от других художников – не только в кино, в любом творчестве – отличает особое отношение к этому тезису. «Правда – она одна!» – был убеждён Шукшин, и потому искусством для него была сама жизнь.

Когда что-то создаётся, в процессе творчества трудно определить, каким предстанет задуманное. Кажется, что все всё делают одинаково, разве что один чуть-чуть иначе. С этого «чуть-чуть» и начинается искусство.

За время работы в кино мне приходилось иметь дело с разными режиссёрами, большинство из них были уверены в себе, твёрдо знали, что и как надо делать, что где должно стоять и как выглядеть. Шукшин удивил меня своим «не знаю». Он действительно не знал, что и как будет, он мучился, искал и меня приглашал к этому. Ведь в творчестве ничего нельзя знать наперёд. Решение должно быть выношено, выстрадано. Как правда.

Состояние страдания, поиска правды, которую он должен донести, было для Шукшина постоянным и естественным. Видимо, это и было то «чуть-чуть», на которое отличаются результаты работы у разных людей. Каждый новый фильм становился событием не просто для Шукшина-ху-



должника, но одновременно и для Шукшина-человека, для него не существовало разграничения между жизнью и творчеством.

Вот пример. У нас был уже найден «домик Любы», когда мы вновь попали в деревушку Садовую, и там Шукшин замер вдруг в одном из двориков.

– Только тихо и ради бога ни к чему здесь не прикасайтесь. Здесь будут жить Байкаловы...

Я представляю, как захотелось бы иному автору что-то добавить, изменить, поленницу, например, в другое место перенести, забор перекрасить. Шукшин менял не в увиденном, не в жизни, а в себе, в сценарии».

Хозяйка «дома Байкаловых» в наш «любительский» приезд была жива. Звали её Феклиста Евгеньевна Молокова. То же крылечко у дома – на нём часто обедал Шукшин. Та же поленница дров, светлых, берёзовых. Впрочем, «те» дрова давно сгорели, подарив миру своё тепло. Так и жизни человеческие – миг, и нет их, но память, случается, длится и длится...

– А вот у меня что есть, – порылась в комоде хозяйка и протянула старое зеркальце. – Василий Макарович брелся перед им...

Мы схватились за реликвию – точно кусок стекла мог вернуть исчезнувший облик!

В невозвратности минувшего есть редкая сила. Она заставляет оживать голоса без плоти, и это реальней многих реальностей.

Особенно явно это в Садовой возле старого дома с берёзами. Замок на дверях, и травою поросло крыльце. Но вслушайтесь...

«Восемнадцатый год одна... ни единого звука от сына...»

Это мать Егора Прокудина, Куделиха. Помните, как светло и доверчиво переходила она в фильме от окна к окну, провожая взглядом камеру и недоумевая, зачем понадобилась столичным людям.

А случилось, что заболела Вера Марецкая, и пришлось срочно искать замену актрисе. Исповедь деревенской жен-



чины Офимы Быстровой – одной из тех, с кем беседовал Шукшин в перерывах между съёмками, – вошла в фильм, многое в нём переменив.

– Выспросили её, вот и стали кино ставить, – убеждён был старик Голубев.

По замыслу Шукшина, говорил И.Новодерёжкин, «вся картина должна была равняться по этим кадрам, дотягиваться до их обнажённой и неприукрашенной правды. Некоторые считали, да и теперь считают, что Шукшин был прекрасным писателем, актёром, но никудышным режиссёром. Он, мол, ничего не понимал в кино. А он просто понимал кино иначе. Да и жизнь, впрочем, тоже.

О богатстве его художественного видения говорит задуманный, но не снятый для «Калины...» эпизод. Когда Егор приезжает с Любой к своей матери и прячется от неё и от самого себя за тёмными стёклами очков, он высматривает на стене свою детскую фотографию с саночками. Не в силах больше находиться в доме, он рвётся на улицу, где огромные берёзы, солнце. А там... идёт снег, и навстречу Прокудину катит саночки он сам, маленький. И Егор разговаривает с собой прошлым...Это должно было стать кульминацией фильма. К сожалению, надо было сдавать картину, мы не могли ждать зимы».

Вскоре после премьеры не стало Офимы Быстровой. Доживала она свой век одна, а силы топить печи не стало.

– Во всё оболокалася, сколь одежды и платей было, всё на себя, – доложил нам о её кончине Василий Голубев. – Там промежуток у стены был. Упала. Сошли к ей, а она за печкой мёртвая. В байне вымыли, спрелили всё. Похоронили.

Могилка Офимы Быстровой за деревней Садовой, возле той церкви, где плакал Егор Прокудин.

Я бывала на том месте. Дул знобящий октябрьский ветер, свистел под сводами разрушенной колокольни. С церковных стен глядели уцелевшие лики святых.

Летели листья со старых тополей, оседали на холмики.

– Сынок у меня здесь, здравствуйте!

Я вздрогнула от голоса. Над соседней могилкой женщина в фуфайке крошила хлеб.



— Давно помер, сердечный. А я далеко, да и старая. Некому оградку поправить. И крестик упадёт, не ровен час...

Она огладила серые сопревшие колышки.

— У меня тут стихи написаны, — громко вдруг сказала она, поправляя фанерку на столбике. — Никто не верит, что я сочинила... А я и не сочиняла — они сами, когда горе случилось...

Я склонилась и прочла заплаканные дождём строчки.

— А вы помяните со мной, — женщина протянула яичко и съёжилась, перевязывая платок. — Холодно нынче, ровно и не октябрь.

— Да, — кивнула я.

7 октября, когда хоронили Шукшина, в Москве было под двадцать градусов тепла. Казалось, воздух оцепенел, сожжённый жалостью, и вся страна замерла, как от боли в сердце.

И здесь, в белозерских домах, тоже ахнули деды и всплакнули старухи:

— Хорошим людям долгой жизни нету!

Почему в несчастье мы становимся вдруг сильными? И влечёт нас куда-то, и растёт внутри что-то неосознанное, требующее выхода.

Говорят, что энергия души человеческой не исчезает бесследно, она переходит к тем, кто остаётся жить. И тогда мы берём в руки камеру и делаем свой любительский фильм.

И вот на экране люди, разделившие наши воспоминания в октябре. И долго на этой плёнке будет жить их память и бесконечная благодарность судьбе за то, что рядом с ними прошёл по жизни такой человек — Василий Макарович.

А потом опять наступит октябрь, и опять зардеет на Руси калина. И снова нас потянет в те места, где когда-то бывал Шукшин. Потому что сердце никогда не смиряется с утратой. Так не устранима ничем горькая горечь калины.





Глава ВТОРАЯ ЭТОТ РОЗОВЫЙ «ГЛОБУС»

Народ сам выбирает себе святыни. И нельзя вмешаться в этот никому не подвластный процесс, что-то изменить в нём, повернуть в другое русло помыслы и чувства народные

Не сговариваясь, символом памяти Шукшина народ избрал калину. Так же, подчиняясь лишь зову сердца, в первый же июль после смерти Василия Макаровича потянулись люди на его родину, на Алтай, в Сростки, и обнаружили там тысячи себе подобных. Родились традиционные теперь Шукшинские чтения.

Столь же стихийным было обращение людей и к матери художника. Бесконечный поток писем шёл и шёл к Марии Сергеевне в Бийск, на улицу Красноармейскую. Писали и просто без адреса – почтальоны в ту пору знали его наизусть.

В этом море человеческих слёз были и мои. Я писала Марии Сергеевне про Белозерск, про наши несколько разговоров с её сыном на съёмках «Калины красной».

И она ответила мне.

«Добрый день, уважаемая Нина Павловна! Давно я получила твоё письмо, но не решалась сразу ответить. Правда, письмо нельзя сказать, что загадочное, открытое письмо...»

«Добрый день! Нина, вы, дорогая моя, обидного, по-моему, ничё не написали. Я же не глупого ума. Я написала узнать хорошо человека, тогда принять близкого человека к родному сердцу. Ведь это не так просто. Вот и было бы очень хорошо, если бы ты приехала лучше бы. Да я бы стала глядеть, как мне человек рассказывает. Нужно час посидеть с человеком, пойму сразу...»

Я сейчас очень болею, очень большое давление. А писем очень много, хоть понемногу хочется всем ответить. Много посыпочек, бандеролей. Вот он, дитёнак милый, много мне оставил родных сыновей, дочерей и даже внуков. Пишут студенты, школьники, даже пионеры пишут. Он сам любил народ, я не знаю, кто так может любить народ, как он, дитёнак, любил.



Ну, ладно, горло сжимает, не выдохнешь. До свидания, дорогая Нина, доченька, будьте здоровы, с уважением и любовью к вам Мария Сергеевна. Пиши и выши карточку свою».

«Нина, получила бандероль. Господи, вот мучитесь из-за меня! Да хоть добрые тёплые слова, и то хорошо. А как звать эту коврижку? Я и не могу знать, у нас таких не выпекают, и я не видала. Ну, спасибо, ведь на всё нужно время и деньги.

А я сейчас болею не перестаю. Вот немножко, может, полегче будет, тогда я побольше напишу. Писем очень много, а с головой плохо, болит».

«Добрый день, дорогая Нина. Получила твоё письмо. Вот ты спрашиваешь, может, чем помочь. Вот я попрошу тебя, если можно и если они бывают у вас в магазине, чёрные платки с цветами. Давно добиваюсь, но у нас их не бывает. А может, и бывают, да разве увидишь. На базаре кой-когда, говорят, бывают у спекулянтов, но ведь это не по моему карману. Только тицетычку не отрывай. Я посмотрю, сколь, и сразу деньги вышлю.

Вот лекарства есть, но, видно, болезнь сильная, лекарства все дорогие. Не могу писать, сильная головная боль... До свидания, будьте здоровы».

«Сегодня получила посыпочку. Господи, милая голубушка, огромное тебе спасибо за платок, очень хороший, нарядный. А ты тицетычку всё же убрала! Ну, дорогая, не обижайся на меня и не жалей, когда пожалеешь, чижало его будет носить... А я хотела писать извинения, каялась, вот, думаю, обидела человека, так душа болела, что письма давно нет. А сейчас на дом посыпочку принесли, я как раз не могу пойти.

Спасибо, Нина, и за коврик на пол. Эти женщины умелыми руками делали. Были бы близко, расцеловала бы. Как они так умеют? Я удивилась таким умением. Главное, рисунок. Я сама начинала делать такой кружок, ну ничё не получалось, всё стянула. А ведь это надо такое умение рук! Ну, передай им от меня поклон, если они знают, что мне делали.

Господи, милый мой сыночек, весь народ сделал родными. Кто корит, кто одевает, кто добра слова присыпает. Не замолить мне Богу за добрых людей. А самой послать, чё я пошлю, ничё нет такого. Ну, милый ты мой человек, ещё раз спасибо. С глубоким уважением Мария Сергеевна».

«Нина, вот что я тебя, дорогая, попрошу. Передай записочку Ольге Фокиной. Я хочу её отблагодарить за стихотворение. Спасибо ей большое, пожалуйста, передай. Теперь поздравляю тебя с Днём победы, же-



Мария Сергеевна среди родных на Шукшинских чтениях 1977 года



«А я помню, как...»



«Господи, милый сыночек, весь народ сделал
родными...»



С поклоном



лаю крепкого здоровья, счастья, жизни радостной, успехов в работе и в личной жизни на долгие добрые годы».

«Нина, ты пишешь насчёт Москвы. Чё там будет, нам ничё не известно. Да я, наверно, и не смогу одна поехать. Наташа на работе, а я куда одна? Я же больная. Я давно бы побывала в Москве, ну вот горе, не могу. Да ты в любое время приезжай, я же дома всё время. Да чё тут спрашивать? Ехай, и всё, в любой день, как отпуск дадут. Приезжай, долго не затягивай, что ни скорей, то лучше, а то я ненадёжная, вдруг в больницу сляжешь. А чё спрашивать? Приезжай, жду».

И я собралась. Стоял июль, билетов на самолёт не было, пришлось ехать от Москвы поездом.

Чего только не передумалось в этой долгой дороге! Всё перебрала в памяти, что узнала о Марии Сергеевне из книг Шукшина.

«Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо... Мама начала немилосердно бороться с моими книгами... меня выпорола... На моё счастье... молодая учительница из эвакуированных ленинградцев... убедила и маму, что читать надо, но с толком.... Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу.

...Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней и Толя скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и её копия тоже ладошечкой рот прикрывает – подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

– Читай. Читай! Што, уж зевнуть нельзя?

– Да ведь поснёте сейчас!

– Не поснём. Читай знай.

...Невдомёк было дураку: мама наработалась за день, намёрзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки – до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и всё» («Из детских лет Ивана Попова»).



«Вот чего, – говорит она, – побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она поднимается рано – увидит, подберёт...»

Потом мама, пишет Шукшин, вернулась за ним. Они вдвоём навязали две большие вязанки.

«Так и вижу нашу Райку – как она уткнёт свою морду в это добро... Идём назад. И тут – чёрт её вынес проклятую – собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на неё. Едва оправилась от страха, пошли...

– Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

– Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка – точно большой тёмный горб – подскакивает на маминой спине».

Эти события так и остались на всю жизнь для Шукшина «праздниками детства».

С нежностью вспоминал он, как мучительно пыталась мать помочь ему определить дорогу в жизни.

«Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера?.. Когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?»

А выучился сын её на писателя. У жизни выучился и у неё, у матери. Конечно, о ней вспоминал Василий Макарович, назвавшись Витькой, в сценарии «Позови меня в даль светлую...»

«Матушка-дороженка, помоги нашим ноженкам, – приведи нас скорей домой», говорила Мария Сергеевна в усталости.



Могила матери Шукшина. 1979 год



Писатель Анатолий Соболев и актёр Алексей Ванин
у могилы Марии Сергеевны Шукшиной



В родной земле



А когда долго не разгоралась печка, она выговаривала ей:
«Ну, милая... ты уже сегодня совсем что-то... Чего рас-
капризничалась-то? Барыня какая!»

И Иван из рассказа «В профиль и анфас» – это Шукшин тоже! Ведь материнскими словами прощается он перед отъездом с печкой:

«Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю».

...Потом я коснусь ладонью той печки, что в доме-музее Шукшина в Сростках. Иззяблым жаром прошлого пронзит меня. И встанут рядом Шукшин с матерью, и станет хорошо-хорошо, и потеплеет белёный камень под рукою...

Но тогда я тряслась в поезде, перечитывая рассказы Шукшина, и приглядывалась к его землякам, которые наполняли вагон бойкой певучей речью.

«Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, – писал Василий Макарович в своём «Признании в любви», – когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь... вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тётя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула двери и позвала ещё свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь – купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тётя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чё в коридоре-то делается!... А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я



прихожу к мысли, что это – справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но...но уж пусть лучшие мы придём к мысли, что надо строить большие удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие – в загородке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правил передвижения пассажиров».

Как же низко всегда хотелось мне поклониться Василию Макаровичу за эту правду чувств! Ох, как просто и заманчиво уверовать, что и весь-то смысл движения состоит в улучшении его условий: из общего – в плацкартный – затем в купейный – а там и в мягкий вагон. Чтобы чистота и порядок, чтобы тепло и свободно, чтобы тихо и покойно – никто не лезет со своими разговорами, заботами и печалями: этак можно всю дорогу чужими бедами болеть!

А муга Шукшина всю дорогу протяслась в общем вагоне. И толкали её, и в драки втягивали, и в подол ей плакались, и ссадить пытались, отказывая в праве на искусство.

Но Шукшин знал сразу и навсегда, что художнику надо «жить народной радостью и болью, думать, как думает народ», потому что «народ всегда знает Правду».

Мать его была из народа, ей он верил до конца. Потому так волновалось его сердце, когда он подъезжал к родным местам.

Давно уже тянулись вдоль дороги берёзы, берёзы, высокие, звонкие. Как-то особенно ясно мне стало тогда, почему под Белозерском Василий Макарович выискивал для фильма белые светящиеся рощи.

Полумрак висел над городом, когда поезд прибыл на конечную станцию. Я заняла очередь на такси, и, пока стояла, зажглись на улице огни.

Народ двигался ближе к дому, а мне ещё предстояло отыскать своё пристанище.



Родные Василия Макаровича



Сёстры матери Шукшина



Двоюродный брат Шукшина художник Иван Попов и
актёр Алексей Ванин



— Это мы мигом! — весело отозвался водитель, выслушав адрес. — Кому ещё в Заречье?

Прихватили попутчика — мужчину навеселе — и поехали. Высокие каменные дома сменились ветхими деревянными и снова современными. Въехали на длинный мост через реку.

— Это Бия! — радушно познакомил меня таксист и глянул на пассажира сзади. — Тебе-то куда тут?

Мы очень долго кружили по старой, заречной части города, и сердце моё сжималось в волнении: что как ляжет Мария Сергеевна спать, ловко ли будет тревожить?

Она не спала. Открыла дверь и спросила низким голосом:

— Нина? Заходи.

Так мы увиделись.

Потом сидели в кухне, пили чай.

— Легко нашла-то меня?

— А на такси минут за двадцать добрались.

— Такси-и? — не поняла она. — У нас дом рядом с вокзалом. Он что же, возил тебя куда далеко?

— За рекой были.

— Может, адрес не рассышал?

— Да нет, он меня всё расспрашивал, а я про вас сказала, и он кивал — знаю, знаю...

Так впервые я столкнулась в жизни с непростыми героями Шукшина.

Разобрали мы в тот вечер подарки да гостинцы и поспешили улечься, оберегая здоровье Марии Сергеевны.

Мне постелили в большой комнате, на диване. И всю ночь смотрел на меня с фотографий Василий Макарович. И берёзы были вокруг, берёзы, которые тянулся погладить Егор Прокудин...

Утром пролили молоко, сунувшись вдвоём в холодильник. Мария Сергеевна опечалилась, до вечера вспоминала случившееся. Когда с бидоном я напрасно обегала город, я



поняла её. Потом каждое утро начиналось для меня с путешествия в магазин – к открытию. Это был признанный и узаконенный мой вклад в хозяйство.

Вечерами мы выносили в лоджию стулья и сидели там, пока не стемнеет. Напротив длинного высотного дома были садовые участки, люди копались в земле, доносился её тёплый запах. Заметно было, что он тревожил Марию Сергеевну. И однажды она сказала:

– Все вот спрашивают, как я детей воспитывала. Да никак не воспитывала! Просто жили. Работали. Честно. Ты читала, как Вася написал про эту нашу жизнь? Когда он на своих-то, на алтайских, обиделся, что не поняли «Печки-лавочки». Вон там в журнале статья эта, отыщи, я послушаю.

«...я хочу быть правдивым перед собой до конца, – начала я вслух, – поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там многое, очень многое работали...»

– Да, – вздохала Мария Сергеевна.

«Никак не могу внушить себе, что всё это – глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, – очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека; неужели только в том и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали всё, чем жив и крепок человек и чем он – нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие есть праздность и суесловие...»

– Всё правда, сыночка, всё правда, – кивала мать.

Разлился уж сумрак в чистом небе, и яблони в садах затихли – ветер тоже ушёл на покой. Жара дневная спала, но воздух был упруг, голоса долетали до нас ясно, звонко.



Портреты Шукшина работы Ивана Попова



Племянник Шукшина Сергей Зиновьев с художником фильмов Григорьевых Галиной Анфиловой



Ренита Григорьева с сестрой Шукшина Натальей Макаровой Зиновьевой



С лоджии к верхнему этажу тянулись выноны. Мария Сергеевна сидела под ними, грузно сгорбившись, и вздыхала о своём. Я понимала: сотни и тысячи писем людских не способны помочь.

– Все говорят, радуйся, мол, Мария, – словно отвечая мне, промолвила она, – радуйся, какая слава тебе на старости лет привалила. А зачем мне она, слава-то? Жили бы мы лучше в землянке на одних сухарях, только бы сыночка был живой – ничего другого не надо. Вот оно и было бы счастье...

И опять была ночь. И опять смотрели со стен глаза Василия Макаровича.

А наутро целый альбом фотографий держала я в руках!

«...из чего получился человек? Ведь не из чего, из малой какой-то малости», – вспомнилось удивление одного из героев Шукшина.

Стоял на столике маленький Вася, рядом сидела его мать – совсем не такая, как теперь, а молодая и счастливая; потом всё больше и больше проступали на снимках Шукшина знакомые всем скуластые черты – школьник... моряк... студент... артист. Вместе с фотокадрами из фильмов были любительские снимки – на Катуни с сестрой и племянниками, с родными в Сростках, вдвоём с Марией Сергеевной.

– Едут, пишут, приходят теперь, – говорила мать, – и все ко мне, будто я тому виной. А я что? Я мать, мне так на роду написано – детей ростить. Нет тут моей заслуги – всё, что надо было, детям отдала. Как иначе?

И она поведала то, что я обнаружу запечатлённым Анатолием Заболоцким в документальной ленте «Слово матери».

– Помню, отец был у меня ещё жив. Он был столяр, у него в ограде была столярочка. У него всякий инструмент там был – целая стена натыкана так подрядочку. Вася навадился к нему бегать в столярку, ему поглянулось там инструменты эти все узнать... тетрадочку, карандаш взял... срисует и спросит: как звать? Он скажет. Ну, ладно, отец заинтересовался, стал ему



вопросики задавать, он ему отвечать. Ну, отцу-то стало видно – как взрослый! Потом, это дело было в субботу, приходит ко мне отец и говорит: ты, девка, этого ребёнка береги. А я говорю: я их обоих берегу. А он: это очень способный ребёнок, у меня, говорит, по шкуре дрожь пробегает, когда вопросы ему задаю. Что, говорит, девочка, – та немного поучится, и учитель она будет, с её за глаза хватит. А с этого можно больше спросить...

Ну, я ему не призналась, будто бы и не замечаю этого. А говорю: ты знаешь, отец, каждому родителю свои дети хороши... А почему я ему не призналась, я скажу. Потому что – деревня, он ведь со своими друзьями, кумовьями, сватовьями, может, когда разговор зайдёт, он может и сказать, что ребёнок такой. И разнесётся по всему селу... Кто-то так поймёт, а кто поймёт, что схвастанула мать...

А теперь вон сколь хороших слов о нём пишут! Морячки, друзья Васины, отыскались. Дай-ка я тебе письмо покажу...

Мария Сергеевна вытащила из огромной пачки писем один из конвертов. Он был с грифом газеты «Флаг Родины», органа Краснознамённого Черноморского флота. Журналист А.Марета писал о своих поисках через Центральный военно-морской архив.

Я поняла, что Мария Сергеевна хочет слышать текст, и стала выборочно произносить сухие военные фразы.

Командиром отделения у Шукшина был Н.Ф.Шмаков. Он вспоминал, что летом 1950 года прибыла в одну из частей Черноморского флота группа молодых матросов, закончивших радиокурсы. Василий Шукшин сразу обратил на себя внимание серьёзностью, взрослостью, обострённой ответственностью за выполнение воинского долга. Был исполнителен, трудолюбив, работал молча, сосредоточенно. Несмотря на отсутствие большого опыта, нёс радиовахты наравне с лучшими специалистами. Неудивительно, что вскоре он повысил классность, его назначили на должность



Актёр Алексей Ванин и сестра Шукшина
Наталья Макаровна Зиновьевна



Ренита Григорьева с двоюродным братом Шукшина
Геннадием Козловым



старшего радиотелеграфиста, присвоили звание старшего матроса.

Выделялся он среди сослуживцев и характером. В общении с товарищами был краток, пустословия не любил, но суждения его имели авторитет. Много читал, посещал Севастопольскую морскую библиотеку. А вот писал ли что-нибудь, никто не знал. Был он несколько замкнут, задумчив. Между собой моряки иногда говорили, что «наш Вася далеко пойдёт», но никто не догадывался, в каком направлении разовьётся его талант.

В память о том времени у Шмакова осталась фотография. Любопытно, отмечал журналист Марета, что откликнувшись на снимок в газете сослуживцы Василия Макаровича и не подозревали, что в юности они сфотографировались с самим Шукшиным. «Хотите – верьте, хотите – нет, но когда смотрел фильмы с его участием, особенно «Калину красную», всё время вертелась мысль: знакомое лицо, где-то мы встречались. Так бы и осталось загадкой, если бы не публикация в газете».

– Вот они на фото, эти ребятки. И Вася вот, – Мария Сергеевна, как первый раз, разглядывала снимок. – Я им так и ответила. Ваше письмо, газета, мне за такой подарок золота не надо. Я с собой, спать ложусь, и газеты беру. Сто раз уже перечитала и фото проглядела, не могу оторваться. Я давно думала, отовсюду получаю, а с флота нет. Вот и получила, слава Богу!

В тот вечер подала мне Мария Сергеевна пригласительный билет на вторые Шукшинские чтения.

Утром 24 июля 1977 года к её дому подъехал автобус. Нашлось в нём место и мне. Так впервые я попала в Сростки.

Рассказывать о них... Сростки просто нужно увидеть! Увидеть, как в гору Пикет за селом едут и едут машины, как с утра тянутся и тянутся вверх люди. И как тысячи потом

застыают в молчании. И разносит микрофон над округой, над дальними далями, над студёной Катунью слова благодарности художнику.

Пополудни обязательно проливается дождь, а с утра нещадно парит.

Мария Сергеевна, неловко присев с краешка президиума, всё искала тень, чтобы не напекло больную голову. Потом прикрылась букетом цветов, и люди с фотоаппаратами никак не могли пристроиться заснять её.

Иногда она находила взглядом меня в толпе и молчаливо переспрашивала: давай я замолвлю словечко?

Почему-то показалось нам накануне, что должна я поклониться Сросткам с трибуны от Вологодской земли, о «Калинене...» сказать и непременно прочесть дорогое Марии Сергеевне стихотворение вологжанки Ольги Фокиной, в котором такие строки:

«Сибирь – в осеннем золоте, в Москве – шум шин... В Москве, в Сибири, в Вологде дрожит и рвётся в проводе: «Шукшин...Шукшин...»

Отказали мне в таком слове – тут тысячи хотели б говорить! Но думалось Марии Сергеевне, что нарушено было в тот день «глубокое, давнее чувство справедливости».

Она и дома не могла забыть про это...

По установившейся у нас традиции вышли вечером вдвоём на балкон. Дымками пахло в воздухе, где-то молодёжь пела под гитару.

– Я сидела вот так вот, у окна сидела, – хрюплю начала вдруг Мария Сергеевна, и у меня отчего-то заныло сердце. – Я сидела, и вдруг прилетает пташечка. И вот она прямо села на рамочку, на окно, да и носиком в окно так постукивает...

Мария Сергеевна постучала ногтем по балконному стеклу, и оно задребезжало жалостно.

– И я так вздрогнула... Слыхала, что это нехорошо, когда так бывает. Я говорю, что такое, пташечка, что ты мне подсказываешь? И она ещё всё сидит, не улетает, да ещё до трёх раз она мне постукала. А потом уже, когда третий раз по-



Родственники Шукшина на горе Пикет



Шукшинские чтения. 1979 год.



Дом Марии Сергеевны Шукшиной в Сростках,
ставший музеем



Рождение традиции



стукала, и улетела... У меня даже руки опустились. И полетели мысли... Про внуков вспомнила, что в Новосибирске, и про Васю подумала – Господи, чё бы то ни случилось с ним. Про всех подумала... Потом, на второй день, Наташа пришла. В Москву поедем! Чё-то с Васей тата, а не говорит, что он умер-то, мне. Я ехала к живому. Я и верила, и не верила...

Мать сникла вся, потом поднялась и медленно ушла с лоджии в дом.

Я вздрогнула: посвистывание раздалось вдруг. Примчавшись в комнату, я увидела хозяйку сидящей на кровати со сложенными в замочек руками. На проигрывателе крутилась пластинка – художественный свист для фильма «Печки-лавочки» в исполнении Василия Макаровича.

– Это «Кругозор» выпустили, – сказала Мария Сергеевна. – Я как поставлю, вот и живой сыночка у меня тут...

Она подняла на меня глаза – в них была невыразимая мука; такая же, как в глазах сына.

Утром 25 июля я принесла Марии Сергеевне цветы. Был день рождения Шукшина. Это был Её День.

А вечером я уезжала. На прощание она подарила мне книжку сыновних рассказов, изданную на Алтае.

«В память Нине Павловне, – написала она, – о Шукшине Василии Макаровиче от его матери Марии Сергеевны. Бийск, 1977 года. 25 июля».

И ещё были письма.

«Говоришь, Нина, что похоронила дедушку. Что поделаешь, жалко, человек уходит из жизни. Но он всё же пожил, не обидно. Весь твой отпуск прошёл в езде, намучилась, бедная.

А я всё пью твой чай и каждый день молю здоровья. Пододеяльник и наволочки долго с кровати не убирала, а сейчас сняла, выстирала, пока большие не надеваю. Надо беречь такие наряды, ведь это память. Я одна каждый вечер раскину, не могу наглядеться на узоры на вышивке. Ещё дал Бог родного человека, надо же привезти такой подарок.

А я сейчас помаленьку готовлюсь ко дню памяти. Полмесяца лежала, письма шла, но от тебя ждала больше всего. Вот, думаю, вместе встречали день рождения сыночка...»



«Нина, я тебе советываю поехать в Москву посмотреть памятную доску. Говорят, хорошая, мне уже много писем пришло с Москвы, и все говорят, хорошо сделано, Вася очень походит. Поехай, сфотографируешь, мне хоть обещали, но не знаю...»

«Вот ты давно не писала, говоришь, мне отвечать всем трудно. Да мне своей неграмотной рукой недолго наковылять, я понемногу пишу. Много накопилось отвечать, я немного задержалась из-за конвертов. Когда пенсию получаю, беру сразу на пятёрку, а этот раз взяла поменьше, мне не хватило, я ждала пенсию и накопила. У меня, Нина, ещё добавилась болезнь, опухли ноги, не могу наступить. Господи, вот горе-то...»

Это было последнее письмо. Через полгода из газеты я узнала о кончине Марии Сергеевны.

«Героическое материнство осуществила эта женщина, — писал Сергей Залыгин. — Не так уж много на свете людей, у которых совесть могла бы быть так же спокойна».

На её могилу в Сростках я пришла в июле 1979-го, в день пятидесятилетия её сына. Ещё не осела с зимы на холмике земля, не поднялись вокруг деревца. Мария Сергеевна смотрела на меня с портрета, приветствуя после дальней дороги.

А я вдруг остро вспомнила последний вечер вдвоём, когда она попросила меня виновато:

— Ты дала бы мне ещё разок посмотреть этот твой...

Я подала ей розовый пластмассовый шар с глазком — круглый диаскоп со слайдом внутри.

Она прильнула к отверстию и долго сидела так. Там, в таинственном объёмном мире, возле поленницы дров рядом с ребятами-артистами и со мною стоял Василий Макарович. Деревня Садовая, Белозерский район Вологодчины, 1973 год...

«Нина, все же наслелось попросить, — писала мне потом Мария Сергеевна, — ты мне такого Васю не закажешь в шаричке сделать? В глазах стоит этот твой глобус. Господи, как живой сыночка, зачем не скажет, милый...»



Ничего не было у меня больше в память о съёмках «Калины...» – только этот вот шарик, только один слайд в нём, который негде было распечатать и который не разделишь на двоих...

«Милая голубушка, – ответила Мария Сергеевна, – а за шарик не беспокойся, я же не знала, я думала, так просто. Ведь не совсем, что у меня нету Васиных фотографий, есть же, ну, и ладно. Я думала, просто, а уж трудно, так...»

Трудно. Приду к оградке, за которой Мария Сергеевна. Берёзы поднебесные шумят и шумят над старыми крестами. А тут голо пока, и далеко видно окрест.

Не здесь ли родились светлые строки стихов юного Шукшина?

«*Но стоишь ты,
Злачёная, в звонах зелёных,
Родина! Русь! Весёлая сила!..
Я хочу, чтобы русская умная мать
Снова меня под сердцем носила»...*...

Глава ТРЕТЬЯ ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Есть в Москве на Комсомольском проспекте квартира, в которой часто бывал Шукшин. Жили в ней Ренита и Юрий Григорьевы, режиссёры, супруги.

Они коренные москвичи, учились на историческом факультете МГУ, потом поступили в мастерскую к Сергею Герасимову.

Там, во ВГИКе, и сошлись с Шукшиным.

Чтобы представить их себе в то время, вспомните эпизод из фильма «Живёт такой парень»: Пашка Колокольников везёт в кабине симпатичную попутчицу, которая учит его



жить культурно. Где-то на Чуйском тракте её встречает муж и выражает недовольство её доверчивостью.

Это и были Ренита и Юрий Григорьевы. Василий Макарович осенью 1963 года позвал их с собой на Алтай. Хотел, чтобы во время работы над первым фильмом был рядом кто-то из близких. А потом предложил этот эпизод.

Текст рождался в импровизации, рассказывали они мне.

— Поищите сами, — сказал Василий Макарович и отошёл.

Ренита Андреевна вышла из кабинки. Юрий Валентинович, чтобы заставить себя рассердиться на безвинного Леонида Куравлева, вспомнил недавнюю заграничную поездку, толкотню и нервотрепку, надоевшие чемоданы.

— А где чемодан? — бросил он угрюмо.

— Какой? — опешила Ренита Андреевна.

— Большой, жёлтый, с которым мы в Чехословакию ездили!

Такими словами супружеская чета сразу отделяла себя от деревенского простачка Пашки, с которым молодой женщине и ездить-то небезопасно.

— Брось, он хороший парень! — ответила на это Ренита.

— Все мы хорошие! — проворчал Юрий Валентинович. — У него что, на лбу написано, что он хороший?

— Между прочим, это тот самый народ, о котором мы так много говорим!

— Прекрасно! — подошёл Василий Макарович, издалека наблюдавший сцену. Отвёл в сторону Куравлева, что-то долго говорил ему и рубил воздух рукой, сжатой в кулак.

Повторили всё перед камерой. Куравлев, слушавший прериятельства супругов, так вошёл в роль, что вдруг озлился:

— Ну-ка, плати за то, что я вёз твою жену. Быстро!

— Ты что, не заплатила ему?

Через двадцать лет этот эпизод режиссёры Григорьевы включили в свой документальный фильм «На родине Шукшина».



Но до этого они сняли в Сростках художественный фильм «Праздники детства» по рассказам Василия Макаровича.

О том, как создавались эти картины, речь впереди. А пока обратимся к давним событиям, о которых супруги подробно вспоминали по моей просьбе.

В марте 1963 года в поездку по Сибири отправилась группа молодых кинематографистов. Среди них были Василий Макарович Шукшин и супруги Григорьевы. Выступали во многих городах – в Иркутске, Кемерово, Барнауле, в сельских клубах.

«Юность шагает по планете» – гласила афиша. В программе – лекция о классике советского кинематографа, показ короткометражных фильмов и встреча с их авторами.

Фильмы эти были дипломными работами бывших вгиковцев. Шукшин представлял «Из Лебяжьего сообщают», Григорьевы – «Венский лес».

На обратном пути побывали в Сростках, Григорьевы – впервые. Впечатлений было премного, все собирались их записать.

Но выполнила это лишь Ренита Андреевна.

Через двадцать лет она отыскала свои воспоминания. Машинописные листы хранили карандашные пометки, сделанные рукой Шукшина. Ему понравился текст.

Я держала в руках эти страницы и поражалась тому, что в каждом слове, жесте узнавался Шукшин, каким он стал известен всем.

Ренита Андреевна, доверившая мне эти свидетельства их юности, радовалась, когда я легко угадывала прототипов. Да и как было не признать Василия Макаровича в Алексее Николаеве, человеке «с пронзительными острыми глазами на скуластом лице»! А за именем Тани скрывалась сама Ренита Григорьева.



— Девку-то на поглядку возят! — хохотнул кто-то в зале, когда вгиковцы стали устраиваться на сцене.

Было это в одном из посёлков на Ленских золотых приисках. Добирались до него долго. На станции прибывшим сообщили:

— За вами лошадь из кинопроката пришла!

Погрузили в сани коробки с фильмами, доехали до гостилицы, устроились.

Пришёл администратор, которого сразу окрестили Хмырём. Он отказался пить со всеми чай, а молча тянул из стакана воду. На груди его красовался значок лауреата Ленинской премии. Когда его спросили, откуда это и за что, Хмырь, не смутившись, ответил:

— Сам сделал!

— Зачем? — воскликнул Василий Макарович.

— Уважения больше.

Этот Хмырь и проводил в клуб. А по дороге предупредил:

— Публика у нас особая, к беседам не привыкшая. Может, и не придёт никто. Здесь народу что надо? На лилипутов и дрессированных обезьян он валом повалит. Тайга! А на вас — не уверен.

В зале было человек сто. Гости уселись спиной к экрану по самому краешку сцены. Прямо на них смотрели глаза проекционной будки. У Рениты Андреевны было такое ощущение, словно их сейчас будут просвечивать, как на рентгене. И что он высветит? Что есть у них за душой, понятное и нужное этим людям?

— Мы хотим предупредить, — отважился начать кто-то, кого не угадала я в тексте за вымышленным именем, — мы вовсе не лилипуты, и нет у нас дрессированных обезьян.

— О, даёт! — восхитились в зале, приняв выступающего за конферансье.

— Мы будем разговаривать с вами и показывать свои первые фильмы.



– Давай, давай!

– Первым выступит Алексей Николаев. Он ваш земляк, заканчивает учёбу на режиссёрском факультете ВГИКа. Свою работу он посвящает людям села.

Кто-то кивал в такт словам, кто-то шептался на заднем ряду.

На экране разворачивались события в Лебяжьем.

В зале упал пьяный.

– Больно афиша у нас неудачная, – успокаивал гостей киномеханик. – На лекцию разве так надо зазывать?

Он посматривал за аппаратурой и радовался возможности поговорить с новыми людьми.

– Вы бы хоть почаще приезжали, что ли. А то заладили этих фокусников – ну прямо слова сказать не с кем!

В кинобудку заглянул Хмырь. Шли отрывки из «Ивана Грозного».

– Эту часть докрутим, и всё! – скомандовал он.

– Как?

– Слишком много говорили! А нам ещё второй сеанс пропорхнуть нужно. И так на полчаса опоздали!

Но показ фильмов не остановили.

Наверное, и это выступление всплывало в памяти Василия Макаровича, когда в 1966 году в статье «Вопросы самому себе» он размышлял о сельской культуре и выступал против производителей «культурного суррогата», против навязанной городом «сельской культуры» в виде коврика с лебедями, лилипутов на сцене и т.п.

«Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьёзный фильм пришёл в деревню и нашёл там своего зрителя, – говорил он. – Духовная потребность в деревне никогда не была меньше, ниже, чем в городе... Там меньше знают, меньше видели – да. Меньше всего объяснялась там истинная ценность искусства, литературы – да. Но это значит только, что это всё надо делать – объяснять, рассказывать, учить».



Но тогда, в 1963-м, видя полупустые залы и равнодушные лица случайных зрителей, он не раз отчаялся:

– Наше искусство никому здесь не нужно!

И порывался прервать поездку.

– И уезжайте, все уезжайте! – вспылила однажды Ренита Андреевна. – Я дальше одна поеду!

Кто-то опрометчиво упомянул о народе, которому объявлено про выступление.

– Ишь, как бойко мы разговаривать научились! – взорвался Василий Макарович, «спрятанный» в записях Григорьевой под именем Алексея Николаева. И голос его с характерным надломом явственно зазвучал в моих ушах. – Ах вы, милые мои! Просветители! В народ приехали, просвещать!

Полетел в сторону чайник, кто-то кого-то схватил за грудки...

– Вы поймите, – вздыхал Василий Макарович потом, успокоившись, – не охота мне, чтобы всё это уходило! Я, как детство вспомню, так запах сена и – бабы в белых платках... Честнее люди в деревне, чище. Другая порода!

«*А нет ли тут желания оставить (остановить) деревенскую жизнь в старых патриархальных формах?*» – задавал он через три года после этого «вопросы самому себе».

И отвечал:

«*Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне.*» Патриархальность в смысле веками нажитых обычаяев, обрядов, уважения законов старины.

Всегда Шукшину больно было, если деревенскими людьми под влиянием города брались на веру «*какие-то такие ценности, которые не есть ценности*». В Москве он насмотрелся на такое, устал. И его неудержимо тянуло домой, на родину. Почему – он объяснял потом:



«...всю жизнь мою несу родину в душе, люблю её, жив ею, она придаёт мне силы, когда случается трудно и горько... И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови... и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачают душу».

— Пойду матери телеграмму дам, — решительно сказал Василий Макарович тогда, после ссоры. — Осталось мероприятие последнее. И всё!

Он выплюнул окурок и быстро пошёл прочь.

Но на пути к дому предстояло ещё побывать на плотине Братской ГЭС. Узнали, что неподалёку находится башня проповедника Аввакума, в которую он был заточён в 1643 году.

— Памятник старины. Охраняется государством, — прочитали на табличке.

— А за что проповедника сослали?

— За несогласие с царём, за что ещё!

Василий Макарович зашёл тогда в башню один. Его долго не было. А потом он высунулся из окошка.

— Стой так, не шевелись! — воскликнул Юрий Григорьев. И сфотографировал Шукшина.

Вечером мужчины снова пришли к башне. Там обещалась их ждать Ренита Андреевна. Но её всё не было. Во мраке тревожно высилось древнее таинственное сооружение.

И вдруг внутри него кто-то кашлянул.

...Тускло горела в башне свеча. На полу угадывалась солома. В углу, на тулупе овчиной вверх, сидела Таня.

— Тихо, залезайте по одному! — скомандовала она и задула огонь.

— Будем вызывать дух Аввакума! — подколол Эдик.

— Помолчи. Лучше послушай, как шумит Ангара.

— Это плотина!



— Всё равно...

Долго молчали в темноте, глядя на звезду в оконном проёме. Потом зажгли свечу.

— Неужели здесь действительно сидел Аввакум?

— Вот эти бревна точно старые, — раздался голос Алексея. — Смотрите, крошатся даже под ногтем. — Он поднялся и обошёл башню изнутри. — А вот уже новые бревна... подправляли! Все-таки триста лет прошло.

— Знаешь, — сказала Таня, — его из Москвы через всю Сибирь везли. И он в дороге казакам кашу варил. И кормил их, конвоиров своих! А потом, — она понизила голос, — потом писал: «А они, бедные, едят да дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеют по мне».

— Плачут и истязают, ты понял, стариk, а?!

— Давай ёщё, — шёпотом сказал Алексей. Лицо его было мягким и растерянным.

— «Потом привезли меня в Братский острог и в сруб кинули, — продолжала наизусть Таня. — Соломки дали, и сидел до Филиппова поста в студёной башне. Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Всё на брюхе лежал, спина гнила».

Пламя свечи дрогнуло от чьего-то вздоха...

— Ренита Андреевна, — прошептала я, дойдя до этих строк, — а может...

— Разин? — поняла она меня. — Наверно, и отсюда тоже... А тогда у нас получился любопытный разговор с американцами. Мы с ними днём на плотине познакомились. А вечером, когда из башни вышли, глядим, они у костра сидят, с кем-то из местных беседуют. Мы и присоединились...

— У нас телевизоры, холодильники, — с сильным акцентом говорил худой американец, — но человек не стал счастливее, скорее, наоборот. Он всё больше и больше дробится, прячется в города, оглушает себя наркотиками. Видимо, человеку



нужен не только материальный комфорт. Техника и скорость всё больше заменяют у нас эмоции и чувства.

– Вы это связываете с цивилизацией? То есть она не благо, а зло, в конечном итоге? Она разобщает людей?

– Они словно сейчас говорят! – не удержалась я от наивного замечания.

– Сегодня всё гораздо серьезней, – ответила Ренита Андreeвна и задумалась. – История уже подвела нас к необходимости коллективизма общечеловеческого. Люди должны пойти навстречу друг другу, заменить слово Я на МЫ, иначе не сохранить самое главное – жизнь на земле. Это теперь не просто вопрос искусства, морали или этики – это вопрос политики, вопрос общественный. Мы вот так думаем. А на Западе вырабатываются целые системы – как уберечь себя от переживания, как научиться не сострадать. Представляешь?

А с американцами мы тогда чуть не повздорили, когда завели речь об особенностях нашего народа. Один – такой, серьёзный, с брюшком и в очках, сказал по-английски другому, что в Нью-Йорке вышла книга Аввакума «Житие». В предисловии к ней сказано: «Трагедия русского национального характера заключается в неумении идти на компромисс». Он сказал это с таким пренебрежением и таким превосходством над нами!

Я, конечно, перевела своим. Ох, Василий и взвился тогда!.. Едва сдержали. За этим «неумением идти на компромисс» ведь всё: и гордость за землю свою, и готовность голову сложить за неё и за идеи наши. Сколько таких бескомпромиссных полегло в войну! При Василии лучше было эту тему не трогать.

Знаешь, мы ведь хотели его снимать в своём дипломном «Венском лесе». Там всё происходит на фестивале молодёжи и студентов. Заняты были ребята из тридцати стран: кубинцы, болгары, японцы... И Вася должен был задавать



вопросы немцу по поводу минувшей войны. Он даже на листочке записал их – так всерьёз всё обдумывал. Где-то у меня листок этот хранится...

Да, так что он бы поговорил! У костра тогда вспомнили, не могли не вспомнить про японца из нашего фильма. Он пострадал от бомбардировки Хиросимы, всё лицо у него в шрамах. ...Посмотри там дальше по тексту!

– Я знаю, была Хиросима, – сдержанно ответил худой американец. – Это моя вина. Это вина Америки. Поэтому я сегодня здесь – чтобы лучше понять вашу страну. Я не хочу больше быть убийцей! Нет разницы, на кого я брошу бомбу – на русских или на американских детей. И в том, и в другом случае я убийца, и я убиваю прежде всего самого себя...

В небе над Ангарой горели звезды. И было на душе почему-то тревожно.

Пожилой человек в ватнике, до этого молчавший, прикурил от головёшки и сказал тихо:

– Смотрю вот на него... Когда-то вместе против немца воевали. Неужели теперь с ним придётся?

– Нет, я в него стрелять не буду, – твёрдо сказал Эдик.

– Будешь, приказ дадут, и будешь...

В темноте послышался грохот. Подъехал фургон. Хлопнула дверка.

– Семёнкин! – раздался голос. – Ты куда болты подевал?

Мужчина в ватнике поднялся от костра.

– Тише ты, здесь американцы.

– Какие ещё американцы?! Ты мне болты давай!

Семёнкин улыбнулся виновато, и его увезли.

Василий Макарович подобрел тогда лицом – что-то в этом оклике, в Семёнкине было родное, понятное...

Через сутки он и Григорьевы были в Сростках.

– Ишь, помощнички... Хватит, хватит, – бегала от одного к другому Мария Сергеевна. Мужчины, стосковавшиеся



по настоящему делу, жадно кололи дрова. Ренита помогала в кухне. – Такие дорогие гостенёчки приехали, а я вас работать заставляю!

– Глаза у неё были широко поставленные, как у рыси. Не забудешь такие, – вглядывалась Ренита Андреевна в прошлое. – А по стенам в доме фотографии, фотографии. На одной бородатый казак в папахе и рядом с ним жена его. Это дед с бабкой. С этого снимка потом портреты их нарисовали... Они теперь в музее в Сростках. И Васины фотографии в музее, те же самые, из тех лет... Жутко стало, когда под стеклом их увидела...

В избе у Марии Сергеевны в тот первый вечер допоздна пели.

– В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла-а,

Своему родному сы-ыну-у передачку принесла-а.

Своему родному сы-ыну-у передачку принесла-а...

– Давай, мать, давай! – подзадоривал её Алексей. Он сидел прямо под своей фотографией, сжимая гранёный стакан.

Таня взяла посуду из его рук, он не заметил. Ворот рубахи был распахнут, слипшиеся волосы упали на лоб, глаза чуть прищурены. Во всей его позе впервые за всё время поездки чувствовалось полное освобождение.

– Повернулась мать-стару-ушка, от ворот тюрьмы пошла-а, – забыв обо всём, пел Алексей и глядел на мать. Та тоже ничего вокруг не видела, и слёзы закипали у неё в горле. – И никто про то не зна-ает, на душе что понесла-а...

Ренита Андреевна, напевавшая строки, которые я читала рядом с ней, замолчала и сказала:

– Юра тогда умудрился их сфотографировать. Вот так, в песне, друг против друга. Он вообще много тогда снимал. А



проявлять да печатать некогда было. Мы совсем забыли ведь про эту плёнку... И вот как-то взялся он разбирать свои залежи, проявил, а там – Сростки!! Васи давно не было, Марию Сергеевну только похоронили... А они тут, на плёнке! Что мы тогда пережили, не передать. И Братская ГЭС, и башня Аввакума, когда Вася из неё выглянул... А самое страшное – как прощался он тогда с матерью. Обнялись, оторваться не могут. И не поймёшь на фотографии, то ли встреча это, то ли расставание... Вон ведь как он потом написал: «*Я – сын, я – брат, я – отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно – уходить*». Очень любил он мать...

– Мама, – вдруг совсем по-детски крикнул Алексей, увидев вошедшую мать, – мама, ну иди сюда, ну сядь, чего ты все бегаешь? Да брось ты эти пельмени, сядь, давай споём!

И он затянул:

– Отец мой был природный па-ахарь, а я рабо-отник был при нём...

Мать подошла, провела рукой по волосам:

– Хватит тебе пить-то, сынок!

От этой неожиданной ласки он вдруг сделался как мальчишкой.

– Милая моя, – сказал, целуя руку матери, – милая ты моя!

Мать застеснялась, спрятала руки.

– Ну что ты, что ты!

– Заработка, мать, много денег, – говорил Алексей, – куплю тебе лучший дом. Пойдём с тобой по улицам, какой дом захочешь – такой и куплю. Каменный! А то я знаю их – враз петуха подпустят! – глаза его недобро сверкнули...

– И купил?

– Купил. На гонорар за «Любавиных», в 1965 году. Тот самый, в котором теперь в Сростках музей, – ответила Ренита Андреевна.



– А это у кого вы в гостях?

– Где? – она просмотрела несколько страниц рукописи.

– Это у Генки Козлова, у Васиного двоюродного брата. Помнишь, в его сценарии «Вот моя деревня» написано: «*Вот тётки мои: Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей*». Это и есть Генкина мать, тётя Нюша...

– Я летом рано выйду на Катунь, – говорил мечтательно Генка. – Удочку так беру. Мне её, рыбы, не надо. Я утром Катунь люблю, когда солнце только встаёт, а рыба, вся она стоит в воде.

– Я б этих баб, всех-всех! – твердил своё дядя Вася, прищурившись и скав кулаки. – В такой вот спичечный коробок атомную бомбу, да как рванул бы, чтобы сразу всех, до одной, чтоб все они...

Тётя Нюша, подперев рукой щеку, бормотала:

– Вот так по писанию и идёт. Анчихрист по земле ходит, так и было записано, что, мол, вырвётся анчихрист и пойдёт по земле, и много зла через то приключится.

Бледная девушка, жена Геннадия, сидела молча, на худом лице её горели огромные глаза.

– Взошёл я на гору круту-ую... – страшно кричал Алексей.

– Почему, почему боятся крестьянину землю дать? – перекрикивал его Генка, сверкая глазами. – Ну, какой прок от приусадебного участка? Да от одной коровы? Вот если б я ещё телка держать мог да сено косить для корма, я бы сам с мясом был и на рынок его подешевле бы продал. А сейчас люди хозяйства не чувствуют, разбредаются, кто куда!

– Будя, ладно, расходился, – пыталась утихомирить Генку тётя Нюша.

– Няня Нюра, не трожь ты его... Смотри, – говорил Алексей Тане, любуясь Генкой. – Смотри, сколько нерастраченной силы в глазах, а? Видали вы такие глаза у городского парня? Емелька, Емелька Пугач!



...А немного спустя Генка заколачивал ставни дома досками – аккуратно, крест-накрест.

– Ну что, двигаем?

– О-ой, не знаю, будет ли там лучше, нет ли, – запричитала тётя Нюша.

Валя спрыгнула с машины, сказала коротко:

– Ладно, мама, перестаньте, решили, всё теперь.

Тётя Нюша, словно осуждая кого-то, проговорила:

– Нет тебе покою, человеку, нет. И гонит его, и гонит, как дьявол внутрь залез, и гонит, и гонит...

– Это они пытались счастья искать на стороне, да опять в Сростки вернулись, – пояснила Ренита Андреевна. – Про брата Вася часто думал. «Я позавидовал, – записал он потом, – Генке Козлову. Построил себе человек дом, баню, работает, женился, наверное, любит жену,ждёт детей – я не знаю, что ещё нужно для счастья, но меня грызёт какой-то другой червь».

Генка всё вокруг нас был на съёмках. Скрипочки, говорит, вы мои... А голос – что Васин! Помогал, чем мог. Теперь вот на инвалидности с желудком, и мается, что без дела. Так что про счастье Вася, пожалуй, не угадал.

– А ребятишки у них есть?

– Двое, взрослые уж теперь. Наташа как-то, дочка их, рассказывала. Я, говорит, сама не помню, только от мамы знаю. Как пригласили дядю Васю выступить в клубе. И вот мы идём по улице, а он всё переживает – куда руки деть, не знает. В карманы попробовал – неудобно. Тогда взял, говорит, меня за руку, и так и пошли дальше.

Он, когда приезжал в Сростки, хоть и нечасто такое получалось, обязательно ребятишек набирал и на Пикет с ними поднимался. Кто на Пикете не был – тот в Сростках не был!

Нас Василий в 1963-м сразу на гору повёл. Поднялись, отдохнули. Он дождался, а потом и говорит торжествен-



но: смотрите! Отсюда вся Россия видна!.. А и впрямь – такая красота, такие дали... Сердце стонет! Ну, да ты бывала, чего я объясняю...

– А вот тут у вас про мальчишечку какого-то написано: школьник Ваня, жильтя Марии Сергеевны. Правда был такой?

– Правда. Она нас познакомила тогда. Нарезает сало и говорит: «В деревне ихней четыре класса, а он шибко способный, я и пустила к себе. Одна ведь в избе. Пусть учится, дело хорошее, а он парень смирный, уважительный».

– И не знает никто, в кого он вырос теперь?

– Не знает никто. Спрашивала я... Вот что и удивительно: как она чувствовала это в детях, в своих ли, в чужих, когда они к учебе тянулись? Что могла, всё делала для них.

Мы в бане тогда с ней долго мылись – не торопились, наговорились вволю. Она мне про Васю про маленького всё и рассказывала. Наподдайт пару – говорит, говорит...

– Василий у меня характерный был. Бывало, что не так, убежит на острова, день, два, а то и три пропадает. Я избегаюсь вся, света белого не взвижу, а найду, ремнём-то в сердцах хлобысну, он сожмётся весь, как волчонок... Да, так вот, после войны уж я и решилась. Вася отслужил, из армии пришёл, начал работать. До работы он всегда жадный был, хорошо зарабатывать стал, уважали его. А я вижу – тоскует. Тогда и решила: нищая останусь, а детей в люди выведу. Продала дом, деньги собрала и говорю ему – езжай, говорю, в большой город, учись, выбивайся в люди. «Что ты, говорит, мама!» А у самого глаза заблестели...

– Зато потом он ей и поклонился в ноги. Так и написал: «Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын её вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у неё учился писать рассказы».

– А вот здесь о ком говорит Мария Сергеевна? «Потом был один, хороший. Наталья сразу к нему приластилась, а



Алексей всё волчонком смотрел, никак не хотел, значит, чтобы я опять замуж пошла».

– Про Павла Куксина это. За него она и вышла незадолго до войны.

– Так вот, значит, почему она мне письма подписывала то Шукшина, то Куксина!

– А что потом? – спросила Таня.

– А что потом? Убили его под Москвой. Так и осталась я одна.

– Сколько лет вам было?

– Тридцать два. Похоронку получила когда – упала, три дня лежала. Думала, не встану. Потом встала – детей растить нужно...

– Она всё говорила, что проклятье у них на женском роду, – помолчав, добавила Ренита Андреевна. – И у Натальи вот, у дочери её, тоже жизни не получилось. В тридцать лет овдовела, с двумя ребятишками на руках осталась. И мирное время, а не судьба, видно. Это про него, про Сашу Зиновьева, Вася в «Хахале» написал. Как лежал он да радовался, что в больницу попал. Давно голова болела, да всё ни к чему. Потом вёз его Василий по первому льду через реку... Жутко читать про это...

Есть у меня его письмо к Наталье, от того, 61-го года. Страшные и великие слова в нём! Я его часто перечитываю. Особенно когда трудно. Погоди, я найду сейчас.

Ренита Андреевна принесла из другой комнаты протёршийся на сгибе машинописный листок.

– Вот послушай. Я всё не буду, отрывки только.

«Натали-Наташенька!.. Как глубоко содрогнулось моё сердце твоим горем, как неповторимо я почуял дыхание смерти. Я глубоко и сразу понял вдруг, что смерть – это дело всех нас. То ли жизнь глупа, то ли мы ещё не совсем поняли её истинного смысла, – горько...



…Таленька, я не верю ни во что – и верю во всё. Верю в народ. Посмотри на нашу маму, посмотри на тётушю Нюру Козлову – это народ с большой буквы. Всё остальное – мишура. Суета сует...

…Скоро у меня будут деньги (тыфу три раза) – я думаю, что заживём мы в одном смысле хорошо. А в другом – а в другом всё на твоём сердце. Сумеет вынести – вынесет, не сумеет – крах...»

– Наталья вынесла. Теперь уж внучку нянчит, Алёнку. Преподает математику в техникуме. Вот такая жизнь...

А мы про неё да про Васю про маленьких кино сняли! Даже самим иногда странно.

Глава ЧЕТВЕРТАЯ ЗЕМЛЯКИ

2а рулём был сибиряк и машину вёл лихо – бескрайние поля за окном мелькали, как в поезде. А виды были совсем алтайские, и люди на встречах говорили те же светлые слова, как на Алтае. Это было удивительно, потому что ездили мы по Краснодарскому краю.

То была родина Людмилы Зайцевой, которая сыграла в фильме «Праздники детства» главную роль – роль Марии Сергеевны Шукшиной-Куксиной. В маленьких и больших залах кубанские зрители буквально засыпали цветами свою знаменитую землячку и Рениту Андреевну Григорьеву. В Усть-Лабинске, в стареньком домике Ольги Ильиничны Зайцевой, не хватало посуды для букетов...

– Я всегда считала, что актёру выступать перед зрителями, рассказывать о работе в кино не достойно его профессии, – говорила Людмила на встречах. – Есть фильм, вот по нему и судите. Потому, наверное, я никогда и не выходила на сцену перед своими земляками.



А может быть, подспудно я просто ждала картину, которую мне не стыдно будет показать на родной земле, матери своей, близким, друзьям детства. Картина эта должна была бы отражать мою гражданскую позицию, полностью выражать моё отношение к жизни. И вот теперь я рада выйти к вам перед фильмом, который все мы не просто сняли, а прожили.

На Алтае я была, как дома. Почему-то грело такое ничего не значащее совпадение, что у нас Краснодарский край, и там – край, что у нас есть большая река Кубань, и на Алтае течёт Катунь, без которой там жизни не представить. У нас здесь предгорные районы, и в Сростках за дымкой угадываются горы. Да и песни – пускай они на Алтае другие, но по манере исполнения – то же, что у нас! Мне и петь приходилось со сростинскими бабами, и на огороде работать.

– Бывало, придёт кто-нибудь в Сростки из другого села – на Зайцеву посмотреть, – подхватывала Ренита Андреевна, – посмотрят и удивятся: «Кого-о? И это Зайцева? Зайцева не такая! Зайцева в «Строговых»… А однажды шофёр остановил грузовик возле дома, где она жила на съёмках, и говорит: «Ну чего, хозяйка, будешь уголь-то брать?» А Людмила в фуфайке была, платок на голове сбился…

– И знаете, мне было так радостно, что меня принимали за свою! – продолжала Людмила, переждав непременное оживление в зале. – Мне ловко, удобно, хорошо было в этой одежде.

Мне одна знакомая рассказывала, что, когда она приезжает после съёмок домой – а родом она тоже из села, – она непременно надевает длинную юбку и в ней идёт кормить гусей. Вот тогда все верят, глядят из-за забора: арти-истка!

Я тоже артистка. Но вся родня моя пашет землю, трудится, не покладая рук. Я первая у них решилась в Москву поехать. Когда я приезжаю домой, все собираются, потому что я – их праздник. Я их актриса. Бабушка моя Василиса рожала двадцать три раза. Родит в сенцах, в подоле в избу принесёт – и за дело. Вот я откуда, и это нельзя забывать.



Туманное утро перед съёмкой



Разговор



Тихий час на Катуни



Верный помощник



Мама моя Ольга Ильинична 1903 года рождения, «того месяца, как кукурузу убирали», так она добавляет. Она до сих пор вздрагивает от воспоминаний о войне. На её глазах немцы палили наших пленных. Ровно страшный суд был, говорит она. Я появилась на свет уже после этих ужасов. Но сколько нам с мамой пришлось хлебнуть лиха!

Мне вот в «Праздниках детства» нужно было зимой, в лютый мороз, тащить из лесу спиленную берёзу. В доме у героини моей не было ни дровиночки, печь стояла не топлена, дети были голодные. Какое материнское сердце не затоскует от этого! И Мария моя вместе с сыном надрывалась, но тащила эту тяжесть.

А шёл пленочный брак. И вот мы снова и снова должны были в тридцатиградусный мороз повторять этот дубль. Забежим в избу, чаю горячего выпьем – и опять на съёмку... Вы знаете, что мне вспоминалось в эти часы и что давало силы? Я видела, как мы с мамой, совсем ослабшие, тянем, потом пилим, потом колем акацию. Тяжко было. Но нужно было. И в этом была правда жизни. И правда этого эпизода в фильме.

А ещё я очень запомнила со съёмок корову. Без неё в хозяйстве в войну не выжить бы. Но ведь и её накормить надо, а сена не хватало. Василий Макарович в своих рассказах о детстве говорит про «бесконечно печальные коровы глаза», которые «прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесёт молоко и телёнка...»

Вот мы и думали о ней непрестанно, словно и впрямь голодала наша Райка. А когда удалось – по сценарию – тайком сбросить навильничек сена, уж и прихрамывала я, уж и тонула в сугробах, чтобы донести его скорей до коровы!

Когда подошло время Райке телиться, вся съёмочная группа не спала, ждали этого события. Теперь, когда в Сростки приезжаешь, хозяева обязательно зовут проведать свою корову-актрису. Тогда ведь у неё телёночка сразу забрали, только облизать позволили.



Я всё думала – почему это так запомнилось мне? Да потому, что и у нас с мамой в трудное время был свой такой же член семейства – коза Марта. А когда её решено было зарезать, я убежала далеко за станицу и целый день не возвращалась. Мясо мы есть не стали – продали на базаре.

Когда я читала у Василия Макаровича, как забивали быка, на котором он работал в бригаде, и как он убежал, чтобы не видеть этого, и как потом отказался есть его мясо, хотя такой «рубон» в войну не часто случается, – я вдруг почувствовала этого человека очень близким и понятным мне.

Конечно, никогда я не думала, что выпадет мне счастье сыграть его мать. Я и в то, что актрисой стану, не очень верила. Мне одно время гораздо больше хотелось стать продавщицей – чтобы досыта наесться шоколадных конфет.

Но в кино я бегать любила. А крутят его у нас в конюшне – коней выводят, и показывают. Когда фильмы были «до шестнадцати лет», то окна от ребятишек завешивали газетой. А кто-нибудь дырочку проделает, вот мы сбоку и подсматривали. От такого угла зрения все артисты казались худыми. Поэтому над моей мечтой посмеивались: тебя, говорили, в кино не примут, толстая ты и нога у тебя большая!

Что правда, то правда. А может, не столько крупная я была, сколько смешно выглядели на мне огромные мужские ботинки – до шестнадцати лет в них ходить пришлось. А на кино деньги я зарабатывала на кукурузе, наполовину досытая.

Я помню из детства новогодний дождь и нарядную елку посреди улицы. Помню, что рядом с ней строили тогда в нашем Усть-Лабинске кинотеатр «Знамя». Не верилось, что когда-нибудь на его экране будут показывать меня. Но я отважилась и уехала поступать.

На четвёртый заход мне повезло, я попала в театральное училище имени Щукина. Однако когда закончила его, никуда меня не взяли. Так, может быть, и получала бы я всю жизнь «пенсию по безработице» при театре-студии киноактёра, если бы судьба не привела на студию имени Горького. Со-



Обеденный час



Лодочка



Убегалась...



Интимный разговор



стояние моё было паническим, я вздрагивала в коридоре от знакомых по фильмам лиц.

В это время Сергей Ростоцкий готовился снимать «А зори здесь тихие». Я осмелилась и предложила ему снять меня. Он спросил, кого бы я хотела сыграть. Хоть Васькова, ответила я. «Васькова не надо, а вот есть такая в сценарии старший сержант Кирьянова. Подойдёт?» Сделали пробы, судьба начинала улыбаться мне.

Но главное произошло не тогда, а чуть спустя. Запускался в производство фильм «Печки-лавочки». Мне посоветовали познакомиться с Шукшиным. Я испугалась, а вот сценарий почитать согласилась. Села в коридоре, раскрыла и – забыла обо всём. Вдруг чувствую – кто-то смотрит на меня. Шукшин! Ничего он не сказал, ещё несколько раз проходил мимо и косился на меня. Видно, объяснили ему, что я читаю.

Что ему было моё мнение? Я же была актриса без единой роли! И вот когда я сидела зарёванная, дочитав до конца «Печки-лавочки», он опустился рядом и спросил: «Маленькая, ну чего ты?» Он почему-то всегда меня так называл – «маленькая». А я, помню, всё говорила ему тогда в коридоре – не знаю, не знаю... «Ну чего ты не знаешь? Поедешь на Алтай, вот и всё!»

Так я попала на эту благословенную землю. Так я в начале пути своего сыграла у Шукшина в эпизоде роль его сестры.

Меня многие тогда не поняли. Алтай? Зачем? Все стремятся сниматься у моря, у речки, чтобы работу с пляжем совмещать...

А я чувствовала, что повезло мне. И теперь я смело могу назвать себя счастливым человеком, когда за плечами фильм «Праздники детства».

Между этими двумя вехами, связанными с Шукшиным, много ролей было, с два десятка. Люблю я картину «Здравствуй и прощай», «Строговы», «Кадкина всякий знает». После главной роли в «Здравствуй и прощай» мне посыпались



предложения играть матерей. Но никак не хотелось быть на экране только матерью. Поэтому, быть может, согласилась я несколько раз на роли просто красивых женщин.

Помню, приехала в Одессу, играть жену Баумана. Наряжалась, иду такая праздничная, а вахтёр мне на студии и говорит вдруг так по-свойски: «Что, в барыни подалась?» Слава богу, что никто не заметил этой моей маленькой роли, этой маленькой уступки самой себе. Потом я стала отказываться от ролей престижных, если на душу мне они не ложились. Так и думала: нет, в барыни не подамся!

Я не скажу, что готовность к этому жила со мной. Её вселил в меня Василий Макарович. Три года всего были мы знакомы, после «Печек-лавочек» и виделись-то считанное число раз.

Последняя встреча была незадолго до его кончины. Я была на съёмках в Крыму, поднималась в лифте в свой номер после выступления, с большим букетом цветов. И вот на одном этаже дверь открылась, и зашёл Шукшин. «Маленькая! – обрадовался он. – Как дела?» – «Да вот!» – ответила я, кивнув на цветы. «Надо бы нам посниматься!» – «Я всегда жду!» – сказала я. И лифт остановился на моём этаже.

С его смерти для меня началась иная точка отсчета всего. Я словно родного потеряла. Поняла: не надо никогда ни в чём изменять себе, своей сути, своим корням, совести. Этому он учил. С этим и только с этим я хочу сегодня выходить к людям. Нельзя, как говорится, служить и Богу, и мамоне. Что исповедуешь, то и надо играть. Вот так.

А почему меня взяли на роль матери Шукшина, лучше, наверное, расскажет Ренита Андреевна.

– Людмила сама объяснила одно из «почему». Нам нужна была актриса народная, не в смысле официально присвоенного ей звания, а душой чувствующая народ, его жизнь, его тревоги. Человек богатого душевного опыта, который совпадал бы с шукшинским. Это очень важно.



По Сросткам



Привычный транспорт



Служи!



Когда вышла на экраны «Калина красная» и в журнале «Искусство кино» организовали её обсуждение, то выяснилось, что кой-кому она совершенно непонятна. Люди недоумевали по поводу каких-то мелочей и не видели главного в фильме. Выслушав их, Василий Макарович деликатно ответил на замечания одного из оппонентов, что, вероятно, «особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чём сокровенном у другого».

С Людмилой такого произойти не могло. Тем более что Василий Макарович сам разглядел в её душе что-то, что позволило ему пригласить её на роль сестры.

Сам он не раз подчёркивал, что сестра его очень похожа на мать. В одном письме Наталье Макаровне он написал: «*Таленька, я люблю в тебе маму. Ты от неё очень много взяла, и сама этого не замечаешь.*»

Именно это и определило выбор актрисы на главную роль. Мы её, собственно, не искали, мы сразу знали, что играть будет Зайцева. Оставалась лишь маленькая деталь: получить на то согласие Натальи Макаровны. Увидит ли она в Людмиле Марию Сергеевну? Она увидела.

— Мне теперь, после этой роли, — заметила Зайцева, — даже трудно представить себя в другой картине, другой героиней. Чувствую, жить теперь надо как-то иначе. Так, наверное, как прожила свой век Мария Сергеевна, — честно, строго, с любовью к людям, с милосердием. Знаете, есть такое слово, оно редко употребляется сейчас. А им всё сказано, этим словом. Хорошие люди на Руси всегда стремились жить милосердно, праведно. И детей так воспитывали.

— Зрители в своих письмах к нам назвали Людмилу за эту роль «сибирской мадонной», и мне это кажется очень знаменательным. На нашей земле испокон веку было возвышенное отношение к матери, а Родина, в свою очередь, олицетворя-



лась с матерью. Матушка-Русь, говорим мы, Россия-матушка. «Родина-мать зовёт» – гласили плакаты в войну. Эта особенность нашего народа давно замечена. Ею очень многое в нашей жизни объясняется.

Мне приходилось в своё время наблюдать в США, как ужинали в кафе мать с дочерью. Они были торжественны и любезны, рады друг другу, но, когда подошло время расчёта, каждая достала свой кошелёк и заплатила сама за себя. Трудно представить такое у нас!

В начале века в американском пресс-клубе женщин выступал индийский философ Вивекананда. Он сказал, что его поразила разница психологий в отношении к материнству. В Индии уже к девочкам обращаются со словом «мать», видя в них продолжательниц рода и возвышая их таким образом. А американские женщины оскорбились, когда Вивекананда так обратился к ним.

Именно с этого – с пренебрежительного отношения к матери – начинается падение любой нации. И лишь возвышением роли женщины-матери в обществе любой народ укрепляет себя и землю свою.

Вот почему мы столько внимания уделяли в фильме главной героине. Её образ – это образ всех матерей, всех русских женщин, переживших войну и стойко вынесших вдовство. Шукшин писал о них:

«Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет большие, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо».

Сейчас, когда в зале столько матерей, у которых позади много горя, нам хочется низко им поклониться. Пусть наш фильм будет этим поклоном....



Высота



Юрий Григорьев со сростинскими мужиками



Две сударушки



Четыре сударушки



Был последний вечер на Кубани. Мы возвращались с выступления в Майкопе. Цветами был полон автобус. Моросил дождь, а нам было тепло и уютно в «рафике». Все подустали, молчали, только Ренита Андреевна с Людмилой напевали всю дорогу.

– На позицию девушка провожала бойца,
Тёмной ночью простились на ступеньках крыльца...

После фильма слова эти особенно грели сердце, что-то хорошее рождалось в душе. В таком состоянии и выходили мы из автобуса в центре Усть-Лабинска.

– Но врага ненавистного крепче бьёт паренёк... – пели уже все.

И тут под дождём Людмила исчезла.

Когда хватились, увидели её возле трепетавшего во тьме пламени: она раскладывала букеты подаренных ей цветов вокруг вечного огня – своим землякам.

Возле студии имени М.Горького они вместе ловили такси. Василий Макарович нервничал, курил, а юный Геннадий Воронин искоса наблюдал за ним. Как-то предлагали ему познакомиться с Шукшиным. Но как это: подведут и предстavят? А дальше что? Геннадий отказался. И вот теперь стоял рядом, сам себе не веря.

А Шукшин, видать, торопился, потому что остановил грузовую машину и что-то сказал шоферу. Тот ответил. Василий Макарович, откинувшись, вдруг засмеялся, как ребенок. И посмотрел на Воронина, разведя руками: прости, мол, место на одного! Он уехал, а следом подошло такси...

Прошло много лет. Ехал Геннадий в одном из поездов, и его попутчик – из знакомых Григорьевых – вдруг стал рассказывать о замысле будущего фильма «Праздники детства».

Видно, Геннадий так живо реагировал, что мужчина пожалел:

– Жаль, что столяр ты, а не актёр!



– Да актёр я! – воскликнул Воронин, потому что сыграть отчима Шукшина, Павла Куксина ... об этом и мечтать не смел!

Григорьевы, сразу признав Воронина «своим», отправили его на поиски «приёмного сына». А ситуация была следующей.

Хотели взять на главную роль паренька, внешне похожего на Шукшина. И нашёлся такой: скуластый, глаза шукшинские, даже манерами схож. Но вот беда – природа его внутренняя была всё же подмосковной. На Алтае чуть иначе реагируют на людей, на события, манера говорить у сибиряков тоже своя, неповторимая. Без этого герой мог не состояться.

И Геннадий отправился по сибирским интернатам. Сам он был детдомовским, и очень хотелось ему помочь кому-нибудь из сирот. Просмотрев сотни ребят и уже отчаявшись, Воронин вдруг сообразил: искать-то надо на шукшинской родине!

Так он оказался в детдоме Бийска. Когда в очередной раз он изображал перед ребятами тренера по каратэ, в дверях появился Серёга Амосов – с поднятым воротником и фингалом под глазом.

– Тебе, дядя, руку не больно? – ехидно спросил он, глядя на муки Воронина.

Геннадий отпустил ребят, оставив двоих, – чтобы не спугнуть этого, с фингалом, и спросил Серёгу:

– Стихи знаешь?

– А зачем зубы заговаривать: каратэ-э... Подумаешь!

– А ты что умеешь?

– Махаться!

– Он петь умеет, – подсказал напарник.

Когда на студии смотрели кинопробы, на которых Серёга пел детдомовский «жестокий романс» про несчастную любовь, Воронин вышел из зала: не перенёс бы, если б его кандидатуру забраковали. Дорог стал ему этот мальчишка.



Сростинские парнишки наблюдают за съёмками



Маленькие книголюбы



Последние штрихи



В ожидании съёмок



Песня Серёгина вышибла слезу у комиссии. Рядом с ним померкли все кандидаты на роль Ваньки Попова, даже внешне схожие с мальчишкой Щукшиным.

Приводили всяких – и на скрипичке играющих, и иностранные языки знающих. А надо было – уметь скакать на лошади, коров пасти, словом, быть приспособленным к жизни.

Когда Амосову предложили этюд: перепрыгнуть через воображаемую канаву – он сказал по-алтайски:

– Кого-о? Где тут канава? Когда надо будет – и пры-ыгну.

И все поверили. Особенно когда вспомнили, как в самолёте по пути в Москву он чуть не открыл запасной люк, а затем в студийном буфете съел гору сосисок.

Съёмы стали для Серёги праздниками, праздниками его детдомовского детства. Специально для него ввели в фильм эпизод перехода коров через Катунь. Животные эти были для парня существами особыми: каждое лето в каникулы он вместе с отцом работал пастухом. Когда для фильма пригнали стадо с ближайшей фермы, Амосов каждую корову расцеловал в морду. А затем от восторга чмокнул Рениту Андреевну и Людмилу Зайцеву.

– Серёга, да ты что?!

– А чё? – не понял он. – Они твари, и мы твари!

Кино, Москва... Кому не вскружит это голову?

Серёжке не понравилось всё:

– Во-первых, все куда-то бегут. Во-вторых, воздуха никакого. И потом – ни одной коровы на улице!

Однажды он долго приглядывался к одной из женщин в группе и разочарованно вдруг произнёс:

– А вы зачем ресницы накрасили?

– Чтобы быть красивой.

– А в природе и так всё красиво – и лето, и осень! – искрепненное возмутился он.

Воистину ему внятно было в жизни нечто большее, чем некоторым его сверстникам!



Как-то Амосов простудился и попал в больницу. При заполнении карточки его спросили о матери. А матери у него не было давно, только отец.

– Пишите Рениту Андреевну, – сказал Серёга. – Она мне как мать родная!

И всё же, несмотря на удачно сыгранную роль, на банальный вопрос взрослых, станет ли артистом, он сердито отвечал:

– Кого-о? Ни за что! Я буду от вас природу защищать!

И мечтал учиться в Алтайском университете на факультете природопользования.

В этих весёлых рассказах режиссёров Амосов был очень похож на мальчишку Шукшина, каким он встаёт во вступлении к задуманному документальному фильму о Бийске.

«С лёгким ужасом прошёл я в первый раз по скрипучему, качающемуся наплавному мосту... Это было первое чудо, которое я видел. Понемногу я стал открывать ещё другие чудеса. Например, пожарку. Каланча вконец заворожила меня. Я поклялся, что стану пожарным. Потом мне хотелось быть матросом на пароходе «Анатолий», ещё – шофером – чтоб заехать на мост, а он бы так и осел под машиной... А когда побывал на базаре, то окончательно решил стать жуликом – мне показалось, что в таком скопище людей, и при таком обилии всякого добра... гораздо легче своровать арбуз, чем у нас в селе».

Но какой труд души совершил на съёмках картины Серёжа Амосов, знают немногие. Ему ведь не только в бабки приходилось играть – ему надо было сыграть уход Ваньки из дома на заработки.

«Мне шёл семнадцатый год, – писал Шукшин, – когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне ещё хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стёклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного, или про-



Проба кадра. Второй справа Геннадий Воронин



Проверка камеры



Отработка замысла



Минуты раздумий



сто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но ещё больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Ещё там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушёл».

Когда в фильме мать собирает сыну на дорогу скучный паёк, Ванька лежит на печке с сестрёнкой. Кто видел картину, тот помнит, как бегут и бегут по его лицу слёзы.

– Серёжа, ты почему пла-а-чешь? – удивилась на съёмках Талечка, сыгранная маленькой Оксаной Захаровой.

Что мог ответить ей Серёга? Что творилось в те минуты в его мальчишеской душе и почему именно в этот день утром он сказал режиссёрам долгожданное: давайте снимать?..

Они прощались на горе, на Пикете. Поставил Ваня сундучок. Прижал на миг мать...

Есть фото этого момента: и Зайцева, и Серёжа Амосов, и стоявшая рядом Ренита Андреевна – все плачут. От сочувствия к своим героям, от любви к ним. От тревоги за каждого, кому ещё предстоит пройти по жизни.

Много где приходилось Амосову выступать перед фильмом. Перед премьерой в Артеке, где он отдыхал, его спросили:

– Волнуешься?

– Зачем? – невозмутимо ответил он. – У нас всё, как в жизни, мы не врали!

И это была правда.

Как часто киногруппы снимают Сибирь под Москвой, строят павильоны, учат актёров народному говору.

Ничего этого не пришлось делать Григорьевым. Они решили и отстояли тогда своё решение – весь фильм с первого до последнего кадра снят в Сростках, на родине Шукшина.

Неподалёку от Чуйского тракта стояла старенькая изба, в которой отыскали сохранившиеся полати. Бабушка Прас-



ковья «как в замуж эту избу получила, так ничего в ней и не меняла».

«*Больше всего в родной своей избе я любил полати, – писал Василий Макарович. – Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей... оглядываясь мысленно по стране... я вижу Алтай – как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир...* Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти – неизменно – полати».

– Бабушка, можно мы у тебя в избе свадьбу играть будем?
– спросили режиссёры старенькую Прасковью.

– А чего, молодым жить негде?
– Да нет, это мы не взаправду!
– Дак чего уж, пускай живут.

Светлые детские головёнки торчат с достопримечательных полатей бабки Прасковьи в фильме «Праздники детства». Всё ребятишкам сверху видно. А внизу – свадьба. Мария Попова-Шукшина выходит за Павла Куксина. И волчонком смотрит на него Ванька...

Успели режиссёры заснять и довоенный полевой стан, затерявшийся в необозримых алтайских полях. Когда-то на таком стане жил мальчишкой и Шукшин, работал наравне со взрослыми, а вечером падал без сил на нары.

Теперь ровесников Шукшина играли сростинские ребята Аркадий Холодков, Сергей Устинов, Саша Кузнецов и Саша Шерстобитов, Вера Комина, Наташа Плужникова, Ольга Абзалилова.

Казалось бы, что знают подростки, как могут прожить в фильме военную судьбу своих дедов и бабок? Ими она не прочувствована. Но так ли?

Никто из ребят не испугался мороза, когда снимали эпизод отгрузки зерна, – обмораживались, но дубли повторяли.



Режиссёры обговаривают будущий эпизод с
учительницей Надеждой Алексеевной Ядыкиной



Дубль три!



Взгляд режиссёра с высоты горы Пикет



Вспоминает бывший киномеханик Александр Куксин



И в мешки потребовали насыпать зерна ровно столько, сколько приходилось таскать на себе в войну их ровесникам.

Интересно, что им запомнилось больше всего?

– Как на обозе едем, везём сдавать хлеб фронту.

– Как сидим у костра, картошку печём, чумазые, радостные!

– А чему радуетесь?

– Что привал большущий!

– Устали?

– А то как! Мешки ведь таскали.

Какими почувствовали ребята тогдашних сверстников Шукшина?

– Они в нужде жили. И добреё нас были. Хлеб берегли. А мы в столовой иногда...

– Мы сейчас для себя выводы делаем, как надо жить, после этой затирухи...

– А что это такое?

– Похлёбка из теста и воды, её в голодное время ели. И мы сейчас живём на стане и едим её. Чтобы всё по правде было!

Но ведь и этих ребят потянет уехать из Сросток?

– Зачем? Можно выучиться, а потом опять сюда приехать.

– Сейчас вот здесь бор садили, сосёночки. Можно на лесника выучиться.

– Лучше на маляра!

– Можно у нас в школе работать.

– Неважно, кем работать. Надо просто честно жить!

«*Кто бы ты ни был – комбайнер, академик, художник, – живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным – это будет завидная судьба*», – поддерживал своих юных земляков Шукшин.

Он незримо присутствует в Сростках повсюду и напоминает молодым, что в их годы «самая пора начать думать,



ощущать в себе силу, разум, нежность – и отдать бы всё это людям. Кому же ещё?»

Новая большая школа высится в Сростках. Школа имени Шукшина. Один из этажей её посвящён знаменитому земляку. Фотографии, цитаты из книг. Тишина здесь на уроках музейная. Только возле дверей слышны учительские голоса.

Здесь, в коридорах этих, нельзя не вспомнить об эвакуированной в Сростки ленинградской учительнице Анне Павловне Тиссаревской, которая первая составила Васе Шукшину список книг для прочтения. В письме отыскавшим её исследователям она сообщала:

«Момент помохи Васе по подбору литературы мне не запомнился... Свою работу я любила, ученики мои для меня всегда были свои, близкие, и встречи мои с учениками никогда не ограничивались уроками... Помогла ученику, и чудесно. Так вот, если я и Васе Шукшину чем-то помогла, что ему пригодилось в жизни, вот это и есть награда моя...»

В «Праздниках детства» успели заснять старенькую школу, в которой учился Шукшин. Позднее это здание будет реконструировано под музей. Но в памяти благодаря фильму сохранится класс, в котором, за неимением тетрадок, дети пишут диктант на газетах – а газеты те сообщают об ожесточённых боях на подступах к Москве...

В этой же школе преподавал потом вечерами сам Василий Макарович.

«...не могу и теперь забыть, – вспоминал он, – как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело».

В «Праздниках детства» навек остались все дорогие Шукшину уголки родного села.



Художник фильмов Григорьевых Галина Анфилова с художником Иваном Поповым



Обед на полевом стане, где велись съёмки



Актриса Людмила Зайцева с актёрами из народа



На пороге школы



Представьте, как «сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, ещё блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несётся серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим». Это – Катунь. Всё в Сростках связано с нею, подчинено ей.

За протокой Катуни – остров Поповский. Всегда гуляла там молодежь. И теперь – перебредёшь через поток, и вот они, заветные места, с ежевикой в разгаре лета, с журчащей вокруг водой.

«Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку, – писал Шукшин в сценарии «Вот моя деревня». – Наточешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная – дьявол бы с ней. Не идёт! Ничего, придёт. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь – другая. Придёт. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдёт лет тридцать, приедешь откуда-нибудь из далёкого далека – и этот тополёк поцелуешь. Оглянешься – никого – и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то – вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Проверено».

Удивительным образом воскресают эти чувства в фильме! Они не иллюстрируются, но – живые люди, земляки Шукшина, приносят их на экран.

«В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет, – писал Василий Макарович. – Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушкиами. Была балалайка, реже – гармонь».

Сам Василий Макарович, как вспоминали его ровесники, был на вечёрах гармонистом.

– В школе в самодеятельности сценки ставили, с пирамидами выступали – тогда ж мы по-своему развлекались, – погружалась в прошлое Лидия Ивановна Кибякова. – Но



больше всего вечёрки любили. Надо было, чтобы отпустила мать-то. Всё уж приделаешь! Вот две девки обегали по очереди все дома, оповещали – у кого в воскресенье сбор. На неделю-то учились, по дому работали. А уж выходной наш... Василий Макарович меня провожал бывало. Не ухажористый был. Много не болтал. Гармошку у забора поставит... А сам в полушибурке, от отчима ему достался. Мало у кого такие были. И кубанка на голове – с полосами красными...

Так ли, нет ли одет был молодой Шукшин – не столь важно. Но какой светлый образ живёт в памяти человеческой! И так невероятно, что фоном вклинивается в наш разговор радио, по которому просят обращаться за справками в город Барнаул, на улицу Шукшина...

Совсем недавно в доме, на крылечке которого мы сидели, был «штаб» съёмочной группы «Праздников детства». Здесь операторы перезаряжали плёнку, которая вернёт мгновения прошлого, – и снова юный Шукшин зашагает по Сросткам...

– Знать бы, что такое дело, всё бы запомнили, – вздыхала Татьяна Игнатьевна Юркина, хозяйка дома.

Брат её Александр Куксин, бывший сростинский киномеханик, рассказывал режиссёрам, как Вася Шукшин лихо нашёлся во время рыбалки с ночевой. Обнаружилось, что спички промокли и костёр разжечь нечем. А при ребятах было ружьишко. Василий вырвал из фуфайки клок ваты, подбросил его, выстрелил – и добыл огонь.

Многое поведали сростинцы о Шукшине – и будничного, и ставшего уже легендарным. Но главное – они помогли воссоздать прошлое на экране. Та же Татьяна Игнатьевна, бывшая учительница, на съёмках работала в поле, вязала снопы – как и было в жизни.

– Вот и на гнилую капусту честь пришла – в кино сняли! – смеялась Раиса Ивановна Требух. – А чего? Так оно и было. С одиннадцати лет в поле робили, снопы вязали, в суслоны ставили. Жили на стане неделями. А как дождя-то ждали!



Среди сростинцев



Режиссёры Григорьевы со вторым режиссёром
Лилией Борисовой и литературоведом
Алексеем Макаровым



Мария Никитична Емельянова во дворе своего дома
с москвичами



Последние наставления накануне съёмки



Не отпускали ведь домой, завшивеем все... А если дождик, можно и в баню сбегать!

Сестра моя тоже наголодалась в войну, так и теперь хлеба отрежет и нюхает, нюхает. Детство ей запах этот напоминает.

Трудно было. Но уж и веселиться мы умели, когда радость была! Одеться не во что – из старых покрывал платье сшили мне. В нём на тырло летом и бегала. Обуви нет – ноги грязью мокрой обмажем, и как туфли она. А высохнет – так и летит во все стороны, если пляшешь.

Тырло на каждой улице своё было, и девки, и парни, и гармошки. На другую придёшь – ещё и побьют. Потом старше стали – убегать научились. Но больше мирно обходилось. Идём партиями назад – там гармошка, гут гармошка...

Зимой мы на посиделушки собирались. Украдёшь дома соли, керосину – весь вечер жировушка и горит. А мы вяжем да поём. Свой клуб дома был, и весело было...

Нет, не случайно написал Шукшин: «Что-то убили с вечёрками... Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно».

Надо было видеть, как вылетала на круг Раиса Ивановна, расставив руки и взвившись голосом в поднебесье! Лучшая частушечница Сросток.

Как счастливо, как привольно пели сростинцы в фильме те самые песни, которые знал и любил Шукшин, которые, вместе с ласковым словом матери, врачевали ему душу. Не было бы Шукшина без этих песен. Не было бы и «Праздников детства» без них.

Михаилу Михайловичу Зубкову, в прошлом первому гармонисту Сросток, такая роль была отведена и в картине.

– Ах, гора, гора, гора, какая косогорная! Ах, матанечка моя, какая несговорная! – запевает он в начале фильма. И уходит прочь, махнув рукой, супруга его Александра Петровна.

После съёмок привезли дяде Мише из Москвы новую гармонь в подарок. Скрывая радость, перебирал он кнопочки



ки, деловито хмурился и, повернув на сторону голову, вслушивался в звуки.

А тётя Шура всё бегала и бегала, подавая на стол. Гости пытались её усадить.

— Ничё, — заметил дядя Миша, — стряпка с пальчиков сыта! Это я вот раньше, как придёт, бывало, кто в гости — из-за стола вылажу. Стеснялся, есть не мог. А теперь я хоть куда, только недалеко!

Он знал, что все ждут его коронный номер, — рассказ о поездке в Москву, и нарочно оттягивал.

— Дядя Миша, — просил наконец кто-нибудь, — а вспомнил бы, как ты ездил сам себя озвучивать!

Когда-то в интервью барнаульскому радио дядя Миша излагал эту историю сдержанно и с достоинством:

— Нас было восемнадцать человек, — неспешно говорил он. — Вот ролик включат, сначала проиграют, пропоют, а потом нужно угадать в такту. Это не так просто. Я, наверно, раз десять не мог никак. То опаздаю, то вперёд. А потом получилось. В курс дела вошёл. Мне похлопали. Вот так и было.

В домашнем изложении история обрастила подробностями.

— Я там маленько психанул. Ты куда, говорю, старый хрыч, торопишься? Я-то отстал, а он на экране уже всё!.. Да это ж ты сам, Юра мне Григорьев говорит. Ты же сам пел тогда! Тогда, тогда... Мне тогда того... поднесли! А теперь... говорил я бабам: давайте возьмем, а они... Ну, тогда Юра меня в бок толкнул и подозвал в сторонку, чего-то налил. Я смотрю, а в этом, в стакане, черви какие-то плавают! А Юра — не бойся, говорит, это женьшень. Дёрнул я. И сразу в такту попал!

Кто-то где-то описал эту историю дословно, Юрий Валентинович Григорьев прочитал и расстроился:

— Ну, разве в этом дело? Это как анекдот — ещё сойдёт...

А мне суть видится вот в чём: не умели они, эти люди, изображать веселье! Если им радостно — то взаправду, и на празднике, а не в тонировочной. Что им до проблем со съё-



Могила Ермолая Григорьевича Емельянова, героя
рассказа «Дядя Ермолай»



Вдова дяди Ермолая Мария Никитична
с членами съёмочной группы возле могилы мужа



«Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище...»



«И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку... Длинный это список. Скорбный»



мочной техникой, которая предполагает последующее озвучивание в павильоне?

В таких случаях обычно поступают проще – привлекают к работе столичных профессионалов. Но Григорьевы в ущерб себе вызвали в Москву алтайцев, испугавшись чужих хорошо поставленных голосов. И когда увидели результат, низко поклонились своему учителю Сергею Герасимову, который предостерёг от возможной ошибки.

Кстати, все групповые песни, звучащие в фильме, идут с черновой фонограммы. Не пелось женщинам в студии, вот и всё. Так зря в Москву и съездили.

Хотя грех сказать «зря», ведь большинство были в столице впервые. И внучат за собой потащили. Зачем?

А на это давно ответил в «Печках-лавочках» Иван Расторгуев, убеждавший всех, что необходимо взять детишек на море:

«— Я вон отца-то почти не помню, а вот помню, как он меня маленького на коне в Берёзовку возил».

Сходили сростинцы на Новодевичье кладбище – поклонились могиле Василия Макаровича. Ребятишкам обновки в столичных магазинах купили.

– Ходил я по камням на Красной площади, где российские цари ходили! – дивился дядя Миша. – А ещё у меня в гостинице авария получилась. Утро, значит, настроение хорошее. Ну, вышел я помыться. В нижнем белье, как положено. У нас там вроде как секция, на две комнаты. Вышел – а дверь и захлопнулся! Что делать? Товарищ дежурная! – кричу. А она далеко-далеко, в том конце коридора. Авария, кричу, на ровной дороге! А сам, как барсук, зад спрятал. Вот идёт она, горничная, а я и сказать боюсь. Ломать ведь дверь будут, а за чей счет? Мне Шура денег-то ровно дала. Да-а... И по улице меня на поводке водили. А то уехал я в троллейбусе не туда куда-то. Правда, в эти, в пивные, мы с Васей Бровкиным всё равно убегали, в автоматы. Они там на каждом углу. Двадцать копеек спустишь – и тебе кружка пива. И колбаса тут же, и рулетки-крулетки эти.



– Креветки?

– Они. Василий гору этих....кузнецов наберёт и ест. А я нос ворочу!

Кстати сказать, Василий Бровкин – алтайский шофер. Это с ним, с «рыжим», едет Ванька Попов в «Праздниках детства» учиться к дяде на бухгалтера. Сам Бровкин – без помощи каскадёра и других специалистов – снялся в сцене погони по Чуйскому тракту и сшиб кузов у обидчика. Да так ювелирно, что все только рты разинули.

А вот когда надо было себя озвучить – никак не сумел Василий «угадать в такту». Так что нелёгкая она оказалась, эта киношная профессия.

– Пахать легче! – сделал вывод и дядя Миша Зубков.

А мне вспомнилась маленькая пометка Шукшина в записных книжках: *«Я, как пахарь, прилаjживаюсь к своему столу, закуриваю – начинаю работать. Это прекрасно»*.

Земляки Василия Макаровича говорили:

– За что ни брался – всё у него ладно получалось. На взмёте зяби робил, так его даже в газете пропечатали, что комсомолец Шукшин – передовой механизатор района. Он и в Москву не ехавши, здесь, в деревне, большим человеком, однако, стал бы. Исключительный трудолюб.

Многие сростинцы, привыкшие пахать землю, стали на время творцами и создателями фильма о знаменитом земляке. Лозунг *«искусство принадлежит народу»* обретал на родине Шукшина новую жизнь.

Помогала на съёмках стряпать пельмени, печь хлебы, а на стане – варить военную затируху Полина Николаевна Козлова, тётя Поля. В войну она сама работала в бригаде дяди Ермолая, известного по одноимённому рассказу Шукшина.

– Война началась, мне тринадцать лет было, так же и остальным девчонкам. Мы уже работали по-взрослому. Некому работать было. А дядя Ермолай... Он очень хороший



«И слышно, как плачут, шёпотом как-то плачут...»



«Это – внуки. Как-то трудно совместить эти понятия... Только что поразила молодость тех, на фотографиях, а это уже – их внуки. Но это так»



«Вдовы образца 1941/1945гг.»



«Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут»



был, очень хороший! Простой он. И он хоть и ругался иногда, но это было необходимо, потому что работать некому, а работать нужно было. Он иногда скажет: «Эх, вы, обормоты, навязались на мою голову!» Это у него было первое слово... Вот снимали, как «четыре оглоеда» на полосе спали. Было! Я хотела и хотела – ну надо же, так и было!

С них взять-то было нечего, но всё равно требовали.

К тёте Поле всегда было радостно прийти в гости. К ней и соседки вечером забегали на беседки – «подружиться», как говорят в Сростках. Вспоминала Мария Кузовникова молодость и гармониста Мишу Зубкова. Другая Мария, Ильина, снова и снова про Василия Макаровича рассказывала: как табуном за ним ребятишки ходили, когда приезжал он домой. А нездоровилось если Шукшину, то «ребятня ножки калачиком – и целый день сидят, только бы рядом». Если кто что неладное про него скажет, особенно бакланские, вы не верьте, не верьте, не верьте...

Столицы тётя Поля не видела, потому как не бывала «на западе», только на востоке, детей навещала. Ну, а Москва для сростинцев – это Григорьевы.

– Таким людям везде будет хорошо, – с нежностью говорила о них Полина Николаевна. – Везде будет им добро и светло, ценить их будут... Есть у нас одна. В городе пожила, и меня уж не узнала. Другие, как купят новый шифоньер, так и зазнаются... А я считаю, что это человек недопонимает, когда нос на сторону воротит. Лапти, мол, мы деревенские. А вот Ренита с Юрой, и все, кто с ними, они с нами, как с равными.

«Я заметил вот что, – сказал бы Василий Макарович, – люди настоящие – самые «простые» (ненавижу это слово!) и высококультурные – во многом схожи. И те и другие не любят, например, болтать попусту, когда дело требует мысли или решительного поступка. Схожи они и в обратном: когда надо, найдут точное хлёсткое слово – вообще мастерски владеют родным языком. Схожи они в том, что природе их противно ханжество и демагогия, они просты, в сущности,



как проста сама красота и правда. Ни тем ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются, душа их открыта всем ветрам: когда больно, им больно, когда радостно, они тоже этого не скрывают».

Потому и тепло у тёти Поли, что, не скрывая радости, тащит она соленья, пироги и молоко, очень просто и открыто слушает и очень хорошо говорит.

Один такой вечер рядом с ней навсегда запал мне в душу. Тогда что-то случилось с электричеством, и перед нами горела, колеблясь, свеча. В уютном этом полумраке казалось – совсем не страшным, а волшебным каким-то образом, – что обступали нас со всех сторон герои шукшинской прозы. Хотелось спросить у тёти Поли очень знакомыми словами Василия Макаровича:

«...что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они её прожили. Или – не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали...»

А они двое – приехавший на побывку с отгонного пастбища муж тёти Поли и она – сидели против нас, тихие, ясные («светлые души», сказал бы Шукшин), и почему-то от нас ждали какого-то важного, большого слова...

Не вошёл в «Праздники детства» эпизод про дядю Ермолая – по внутренним каким-то законам выпадал из ткани фильма. Но забыть про него было трудно – Сростки напоминали об этом человеке. И больнее всего – вдова его Мария Никитична Емельянова, двоюродная сестра матери Шукшина.

Старый домик её в стороне от дороги. Окошки осели, покосилось крылечко; под ним, в пыли, паутиной затянута, обнаружилась треснувшая корчага.

– Вот она где! – обрадовалась старушка. – Я в ней хмель заварю, заквашу...

О прежнем времени разговорилась легко, словно оно тут, рядышком.



— Я ведь четыре лета пекла хлебы в бригаду. Два листа у меня было, по четыре булки на лист. Уж я лепёшечку отхлопаю, испеку, съем — а тогда уж хлебы поставлю, чтобы всё хорошо. Тележка у меня была и ящичек невысокий. Сложишь булочки-то, чтобы чистенько. И возила сама. Он у меня, Ермолай-то, завесит, запишет...

Мария Никитична и тогда, в девяносто три года, пекла по воскресеньям хлеб для себя — «магазинным брезгую».

Конечно, силы были уже не те, хозяйство подзапущено, но нам она позволила помочь только в огороде — малинник прочистить. Половики сама к Пасхе перетрясла и чугунки сама перемыла.

А когда пришли мы вновь, возле крыльца была сложена свежая поленница. Мария Никитична сидела в доме на кровати, сложив на коленях руки. Яркий коврик позади неё с красавицей на коне, а стены все увешаны открытками, открытками...

— Опять, видать, думаю жить зиму, дров запасла, — извинительно сказала она. — А пора бы на гору собираться. Платье и три платка собрала: белый, в кокеточку и поднебесный. Какой вы облюбуете, в том и положите... Как-то старик мой там? То дня не мог без старухи прожить, а тут двадцать третий год полёживает один... Неплохой он был у меня, желанный. Сколь прожили — одну только колотушку и съела от него...

Пятерых детей подняла эта женщина. И всех пережила. Но ум её светел, память ясна и речь прекрасна. Как заиграла бы она под пером Василия Макаровича!

Больше всего любила Мария Никитична рассказывать про историю в бригаде своего мужа. Лицо её, всё в морщинках, как яблоко из русской печки, расцветало при этом улыбкой, а руки взлетали тревожными птицами. Это ж надо, что Васька Мариин тогда с Гришкой учудили?! Не пошли сторожить зерно на точке, а сказали, что были!

— Поднялся ветер, дождь. Они и зарылись в солому. Оммануть хотели. А он хитрый был! Собрал он заседаньице



небольшое. Каравулили? – спрашивает. Брёте вы, варвары, говорит, я ж был там!

Не знала Мария Никитична рассказа Шукшина об этом случае. Это было частью её жизни, независимо от литературы.

Мы решили почитать ей вслух «Дядю Ермолая».

Слушая, она ясно смотрела назад, сквозь время, и то улыбалась, то печалилась. Иногда в её глазах собирался жгучий пучок света. Странно, не по себе как-то становилось при этом – не страшно, а величественно, что ли. Словно коснулся ты чего-то большого и недозволенного и поразился своей малости рядом с тем, что ещё предстоит испытать и познать...

Потом привезли Марию Никитичну на могилу мужа.

– Здравствуй, старик мой. Вот и я, – тихо сказала она, взявшись ладонями за оградку.

А поодаль, в берёзках, чудился мне незаметно стоявший Василий Макарович с неизбывной своей думой:

«...когда я смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Не правильно получалось, что вдова дяди Ермолая не попала в картину о детстве Шукшина! И тогда Григорьевы решили снять второй фильм, документальный.

Их бередил давний замысел Василия Макаровича сделать картину о своей деревне, о земляках. Главной её мыслью, мечтал Шукшин, будет такая:

«Это прекрасные люди. Красивые люди. Добрые люди. Трудолюбивые.. Можно спросить их самих: какой фильм они хотели бы увидеть о себе? Они расскажут».

Сростинцы рассказали об этом Рените и Юрию Григорьевым. Трудно теперь сказать, какая из картин – «Праздники детства» или «На родине Шукшина» – сильнее воздействует на зрителя. В них обеих документ становится вровень с искусством, искусство поднимается до великой правды факта.



«Столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо»



«Они не сознают этого»



«Редкого терпения люди!»



«Я бы начал наш фильм так, – писал Шукшин.

Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище. И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку:

Буркин Илья...

Козлов Иван...

Куксины: Степан и Павел...

Длинный это список. Скорбный.

Слушают... Молча плачут».

Среди тех, кто поминал погибших 9 мая 1981 года, были и тётки Василия Макаровича, «вдовы образца 1941-1945 гг., редкого терпения люди». Возле обелиска стояли и сотни героев его книг, люди такие разные, но единые в этот священный миг.

В тот день режиссёры Григорьевы от имени всех москвичей низко поклонились сибирякам и положили к обелиску землю с могилы Неизвестного солдата. Почти триста сорокинцев не вернулись с войны, и большинство из них полегли под Москвой.

Наверное, тот День Победы стал решающим в судьбе обоих фильмов.

– Это благодарная память привела вас к сибирякам! – сказали люди Григорьевым.

Да. Они помнили, как шли по Москве сибирские полки, как сибиряки, «ясноглазые, в белых полушибаках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город».

Десятилетней девочкой Ренита Андреевна работала в московском госпитале. Ей было, что сказать тогда в Сростках 9 мая:

– Существуют в жизни каждого человека и целого народа моменты, когда кристаллизуются все человеческие возможности, полностью выявляется духовный потенциал. Таким событием в жизни нашего народа была Великая Отечественная. В войну мы с Юной с детством расставались... У детства



есть особая острота восприятия. Маленький человек что-то угадывает, потом зрелым умом возвращается к пережитому. То, что мы сейчас называем подвигом, было в войну нормой. Для человека естественно было «мы», а не «я», «наше», а не «моё». Беды и радости были общие.

Сегодня мы говорим о борьбе за мир, за разоружение. Все эти движения родились в пламени второй мировой войны, они освящены кровью. Мне посчастливилось знать Марину Раскову, Долорес Ибаррури, Эжени Коттон, Мари Клод Вайян Кутюрье, Цолу Драгойчеву. Я с детства помню слова: «Забыть значит предать». Десять лет – вполне достаточный возраст, чтобы во всём принять участие и всё запомнить. Я знала это ощущение: вот уходит человек, за ним закрывается дверь, и он может не вернуться...

Вот так не вернулся в Сростки Павел Николаевич Куксин, отчим Шукшина. Один раз прошёл по Москве – и погиб за неё. И многие земляки разделили его участь.

Не случайно произнёс Шукшин, что в его жизни многое определила война. Пересмотрите новым взглядом фильм «Два Фёдора»: не его ли, не отчима ли своего, силой актёрского таланта пытался вернуть к жизни Василий Макарович, надев гимнастерку?!

Не вернулся домой сын Марии Никитичны – Михаил Ермолаевич Емельянов. И каждый День Победы вспоминала старая мать, как уходил он на войну.

– Снял с себя фуражку и запустил, она аж на полосу улетела. Я говорю: зря, это он с себя голову снял! Вот увидите – не придёт он. Как в карты ворожила... Танкистом был. Не плачь, говорил, мама, приеду – жениться буду. А вот только шинелка да брючишки от него и остались...

«...столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо».



Этим шукшинским «не надо» насквозь пронизан фильм «Праздники детства». Оно звучит, когда в холодном сельском клубе крутят военную хронику и измощдённые женские лица с надеждой вглядываются в экран, когда голодные ребятишки тащат на себе тяжести, не всякому взрослому доступные. Не из горестных, а больше из радостных картин детства вызревает в душе зрителя необоримое желание обнять, защитить нашу землю от всяческой напасти, сохранить на ней для детей праздники.

Тот, кто не вернулся, выполнил этот долг. Когда разносился над селом их фамилии, Василию Макаровичу думалось, что в школе теперь учителя называют те же фамилии, только с другими именами. Это – внуки погибших.

Вот и я как-то вышла в Сростках из кинотеатра «Катунь», а у забора – Светлана Пешкова, школьница. Улыбается! Я только что видела её на экране в «Праздниках детства», и она была для меня там, в сороковых, – снопы вязала, затиражу ела... И вдруг – стоит, через сорок лет – такая же!

«Это – внуки, – подсказал Василий Макарович. – Как-то трудно совместить эти понятия... Только что поразила молодость тех... а это уже – их внуки. Но это так».

А потом я видела Свету в клубе в День Победы.

«Мы по земле прошли недаром, мы отстояли жизнь земли» – гласил плакат. И в зале сидели те, о ком эти слова. А рядом незримо были те, кого давно нет.

И бывшим солдатам, и фронтовым сёстрам, и труженицам тыла – всем был отвшен поклон. Даже цыплята-дошколята в жёлтых гольфиках размахивали цветами и пели про «солнечный круг». И добрые старые песни вспоминались в тот день.

«Нашей звёздочке сиять, нашим встречам быть опять.

Буду ждать, буду ждать, буду я солдата ждать!»

И «Тёмную ночь» спели школьники. И про «Ярославну последней войны»:



«На ночь ты дверь не закроешь опять.

Только в России умеют так ждать...»

А я всё смотрела на поющую Свету.

«Пусть будет мир на земле! – требовала она под ребячий оркестр. – Это взывает сердце моё, боль залечившее после боёв. Пусть будет мир на земле!!»

О них, таких девушках и подростках, говорила Ренита Андреевна после поездок по стране с «Праздниками детства»:

– Для меня в этих встречах самое примечательное вот что. Иногда видишь перед собой этакую джинсовую аудиторию. Стандарт мышления срабатывает: ничто, кроме дискотек, этих ребят не интересует. Оказывается, нет: они хорошие люди, у них нормальная реакция на настоящее, на правду, на жизнь. Это наши дети. И, в конце концов, вся наша работа, как и вся наша жизнь, для них.

Через сорок лет после начала войны – 22 июня 1981 года – тысяча человек вышла на массовые съёмки. Все, кто мог, откликнулись на призыв воссоздать страшный день проводов на фронт.

Давно стояла жара, прятались в тень звери и птицы. Трава на горе Пикет выгорела от зноя. А из Сростков и окрестных сёл пешком и на подводах к месту сбора тянулись с утра люди. И вместе с ними – с каждым, кто нёс в тот день в своём сердце память об убиенных, – воскрешался по крупицам давний горестный день.

Юрий Валентинович осевшим голосом сказал в мегафон:

– В память павших, во здравие живых – пошли!..

Когда вы увидите на экране эти кадры – чёрно-белые среди цветного фильма, – вы примете их за документальные. Это нереально, но вернулось время вспять, и через сорок лет, как только явившееся, обожгло алтайский воздух всенародное горе.

Снова рыдали матери, снова кричали дети, снова бледнели мужские лица. Какие тут дубли! Что попадало в кадр,



то и снимали. Люди бежали и выкрикали имена погибших.

Маленькая Оксана Захарова, по роли Наташа-Талечка, в ужасе прошептала Геннадию Воронину:

— Тебя правда убьют?

И крепко-накрепко вцепилась в него.

А над селом, как сорок лет назад, стоял необъяснимый гул — такой, о каком помнили здесь, как ни пытались забыть...

Стало плохо с сердцем у Рениты Андреевны...

Я не знаю, как ещё могут сниматься фильмы. Я знаю, что они должны сниматься так.

Глава ПЯТАЯ ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

— **Н**а фоне полицейского хлама, каким переполнены наши экраны, картина «Праздники детства» смотрится как произведение подлинного реализма, — утверждал на художественном совете студии Горького Сергей Герасимов. — В ней много такого, о чём можно бы говорить высоким стилем. Но я хочу выделить один эпизод, где режиссёры сделали великолепный ход.

Как передать уровень трагедии вдовы? Сколько всегда накручивают в таких сценах! А здесь найдено единственное решение: режиссёры дают Марии воспоминание о проводах мужа на фронт. Это момент, совершенно лишённый спекуляции на военной теме. Он даёт выход этой, казалось бы, камерной истории на масштаб всей страны, на масштаб Отчизны.

— Этот фильм преподнёс нам очень серьёзный урок, — говорил после просмотра в Доме кино киновед Виктор Дёмин. — Наш кинематограф стал провинциален, мы стараемся сегодня в Житомире снимать так, как вчера снимали в Париже, а позавчера в Нью-Йорке. Перед художником встаёт вопрос — бежать ли, «задрав штаны», за прогрессом, или, плюнув на моду, делать по-своему. Именно во втором случае и пропадает провинциализм.

Один маститый режиссёр, выходя из зала, сказал: «Хорошая картина, но не выстроенная». Но это-то как раз и хорошо! У нас на сто пятьдесят картин в год, плюс телевидение, всё выстроено, и в этом наша беда.



Мы научились выстраивать, но за этим – спекуляция. А вот душу автор показать не хочет.

Тут в фильме избрана структура, за которой открывается художник. Тут главное – подлинность. Я – за невыстроенность. Как говорил Василий Макарович, *«в стороне «чисто» профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать»*.

– В наше время появился термин – «психологическая» или «душевная наркомания», – отзывался врач-психиатр, кандидат медицинских наук А.Сухотский. – Речь идёт о том, что воздействие искусства, в том числе кино, можно сравнить с действием наркотиков. Но, как у наркотиков и допингов имеется последствие в виде физической и душевной разбитости, так и некоторые психологические приёмы приводят к депрессии и энергетической потере. И дальше человеку вновь нужен допинг. Возникает своего рода зависимость от подхлестываний. Какая же ответственность ложится на каждого работника культуры, искусства!

В «Праздниках детства» естественность без эффектности, патриотизм без лобовых лозунгов, не бегство от повседневности в приукрашенный или извращённый мир, а красота жизни, праздники её, увиденные в буднях. Тот, кто пришёл на этот фильм для допинга, уйдёт с него разочарованным и возмущённым. А люди другой категории, которых я назову одним словом – Работники, у них реакция иная: понимание и благодарность. Этот фильм как индикатор – его не поймёт человек равнодушный, человек-потребитель, эгоист. Его поймёт тот, кто способен на сопричастность с происходящим, тот, в ком сохранилась способность к искренности, к естественности. И, конечно, тот, кто понимает гражданственность не как лозунг, а как свойство личности.

– Знаю, что слова мои не могут выразить полноты молчания зала, и всё же, – говорила педагог-психолог Т.Флоренская. – Для меня этот фильм – образец искусства нравственного воспитания без малейшего морализирования. Это особенно важно в воспитании подростков, у которых всякого рода назидательность вызывает чувство протеста. Фильм проникнут самыми высокими идеалами нашего общества, и при этом зрителю ничего не навязывается, ему и в голову не придёт, что его «воспитывают».

Здесь было сказано о «фрагментарности, невыстроенности» отдельных эпизодов. Я понимаю, отчего может возникнуть такое впечатление. Дело в том, что восприятие отдельных частей зависит от восприятия про-



изведения в целом. Если это целое не уловлено или понято не адекватно, тогда всё рассыпается на несвязные куски.

Символом, который пронизывает в фильме всё, является мать. Мать Вани в то же время и мать-земля, и мать-Родина, и материнская любовь, и сила самой жизни. Чудо рождения, чудо красоты родной природы, жертвенность материнской любви, мужественная сила матери, способной устоять и пережить любые утраты, – все эти стороны фильма объединены символом Матери.

С потрясающей силой показана в фильме красота жизни в самых обычных её проявлениях. Так полно можно воспринимать её только в детстве, потом это чувство обычно глохнет. Но оно нередко пробуждается перед лицом смерти. Именно так увидели эту красоту авторы фильма. Кто так любит жизнь, не способен уничтожать её, не способен лгать, фальшивить, оскорблять жизнь в другом человеке, в другом народе, это – общий знаменатель всех нравственных качеств. И это главная задача в воспитании нового человека.

Во всех этих выступлениях есть элемент полемики с теми, кто не понял и не принял фильм сердцем. Почему же то, что для одних полно смысла и высоких идеалов, у других вызывает недоумение и даже раздражение?

Некоторым и документальная лента Григорьевых «На родине Шукшина» показалась «неэстетичной» – лошади, наезд, фуфайки на людях затасканные...

Реакция тут одного порядка, точно сформулированного самим Шукшиным после обсуждения «Калины красной»: «особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чём сокровенном у другого».

Трудно приходится истинно народному искусству, когда оно отдаётся на откуп «параллельным душам». Они препарируют его, считая, что для оценки «нужна холодная голова».

А Шукшин всегда призывал слушать «сознание, силу сердца своего»!

И таких людей после «Праздников детства» обнаруживалось большинство.



«Я по профессии математик, но после просмотра фильма не могу не взяться за перо. Творчество Шукшина – настоящий подвиг в литературе и в киноискусстве. Стремительно поднявшись к вершинам мастерства, он сделал столько, что кажется невероятным, как всё вместилось в его несправедливо короткую жизнь. И как сделал! Его яркий талант, меткий язык затронули самые сокровенные струны в сердцах миллионов простых людей, высветили самые острые проблемы нашего общества. Несомненно, что творчество Шукшина ещё ждёт серьёзного исследования. И радостно, что «Праздники детства», первая фундаментальная работа художественного кинематографа в этом направлении, оказалась подлинным искусством.

Моё детство приходится на те же годы, родился я и вырос в тех же местах. И для меня на экране возникло чудо! Как будто снова я пережил то, что нас волновало в то сурое время. Да, те годы были чрезвычайно трудными, но сейчас они воспринимаются как праздники. Они являются платформой, которая определяет наши теперешние поступки, нашу теперешнюю жизнь. Какие высокие требования предъявлялись в то время к детям, какие ответственные дела им доверяли и по каким суровым меркам спрашивали с них! И наше поколение благодарно за это, благодарно, что нас приучили ценить истинные ценности, привили любовь к труду. Это даёт нам устойчивость в самых сложных жизненных ситуациях. И в связи с этим волнует вопрос: правильно ли мы воспитываем сейчас своих детей, оберегая их от трудностей, делая их жизнь излишне удобной и легкой?

А.Сычёв, доктор физико-математических наук,
профессор, г.Новосибирск».

«Боже мой, если б вы были свидетелями того, что у нас творилось в Бийске при показе фильма! Когда говорит душа, когда она рвётся, её не остановишь, не-ет!

Русская печь, нет дров, таскали действительно на себе сено, деревья. Зимы были снежные и морозные. А коровушка-то! Это – богатство, кормилица, правильно, не спали ночи взрослые и дети, ждали телёнчка. Какая была радость! Испечённый пирог радость! Письмо с фронта – радость всей деревни. Жили одной радостью, одним горем. И было всё по плечу русской женщине.

Я родилась в Буланихе. Отца убили в сорок первом, одно письмо только и получили, второе – похоронная. Всё как на ладони у меня всплыло, сердце плачет...

Семьи Некрасовых, Щербачёвых, г.Бийск».



«Мне просто повезло, что я достал билет на премьеру. Вы знаете, таких фильмов я ещё не видел. Вроде бы ничего особенного, из ряда вон выходящего не показывали – не падали самолёты, не взрывались бомбы, никто не ловил очередного преступника, а на этом фильме я плакал, хотя и стыдно было в этом признаваться... Нам показали жизнь нашу, народную. Спасибо за любовь к народу. Спасибо.

В.Полосухин, водитель, г.Бийск».

«Ваш фильм – как хлеб из печи. Мы каждый день покупаем хлеб в целлофане, а однажды в деревне я ела хлеб из печи, только что вынутый. Тёплый, живой. Ваш фильм – как этот хлеб: он так же неподделен.

Людмила Сергеева, г.Москва».

«Наше русское, народное – всегда антивоенное. Помните, какая святая, благородная ложь, я бы даже сказал «боевая воинствующая фантазия», руководила Бронькой Пупковым в борьбе с гитлеризмом в рассказе «Миль пардон, мадам!»?

И вот ваш фильм. Я догадывался, что коренным москвичам, пережившим войну, слово «сибиряки» говорит о многом. И вы пришли в Сростки, чтобы это доказать.

Художественные достоинства картины бесспорны. Но самое ценное – это мысль о том, что маленькая вдовая и безотцовская семья Вани Попова тоже воевала. Воевала своей стойкостью, дружбой, своей верой в победу и верностью ушедшему солдату, своими из снегов добытыми дровами, по охапочке собранным сеном для коровы.

Этот фильм – памятник подросткам, детям, кто выстоял и выдержал невозможное. Военное детство Вани Попова и всего его поколения поднимается до подвига.

Всё, что вы сделали, принадлежит большому и честному явлению, каким был и всегда будет Василий Шукшин. И сохранить, оставить в памяти всё прямое и побочное, что относится к его имени, сохранить в меру точно и по-человечески душевно – наш долг.

Кирилкины, г.Искитим Новосибирской области».

«Не верьте тому, что ваш фильм рассчитан на публику «особо интеллиектуально развитую». Он близок нашему сельскому человеку, они глубоко пережили его, многие говорят о событии-встрече с вами, но сказать при всём зале не сумели. Может быть, именно эта провинциальная скромность, граничащая с замкнутостью, да и короткое время не дали возможности выплеснуть впечатления вслух.

Искитимцы».



«Я был потрясён, как жизненная неправда стала большой художественной правдой! Вы все события, которые показывают уход из Сростков в Бийск, пустили через гору Пикет. Это – неправда, Пикет находится за деревней, в противоположной от города стороне. Вы же сделали отъезд Вани учиться и проводы на войну – через Пикет. И это – здорово! Вы сумели показать с горы простор и красоту алтайского предгорья как бы глазами Шукшина.

Каждый эпизод вашего фильма – это маленькая новелла о нашем народе, о материнской любви и женской самоотверженности, о подлинных духовных ценностях, которые мы, к сожалению, не всегда бережём.

Это глубоко патриотический фильм. Может быть, впервые в нашем кино показана огромная сила сибиряков, которая наводила ужас на отборные фашистские дивизии. Я профессиональный военный и знаю, что до сих пор в нашей армии слово «сибиряк» сродни слову «гвардеец». Сибиряки всегда считались надёжными, стойкими и верными.

Когда я сидел в зрительном зале, когда глаза мои были полны слёз, у меня иногда мелькала мысль – кончится фильм, и выйдет к нам Василий Макарович, усталый... Но чуда не произошло.

Огромное спасибо вам, что в finale фильма звучат слова Шукшина, которые – я в это верю – станут добрым напутствием в жизни многим поколениям советских людей.

Ю.Гусев, г.Новосибирск».

«Необыкновенная работа! Трудно после просмотра, после такой эпопеи находить слова. Это всё о нас. Совершенно разбит и потрясён. Будьте живы, счастливы.

Режиссер театра юного зрителя».

«Очень сложные чувства вызвал фильм – и гордость, и какую-то обиду, и снова гордость за наш народ. Вот какие мы, сибиряки!

И.Михайлова, 50 лет, г.Барнаул».

«Трудно за последние годы вспомнить картину, которая рождала бы такое единодушие зала, обнаруживала бы такой мощный патриотический порыв народа. Вот когда вновь подумалось, что искусство может и должно быть материальной силой, способной подвигать на добрые дела. Теперь много заботятся об увлекательности, внешней занимательности кинокартин – и появляются произведения, могущие лишь пощекотать нервы скучающего зрителя.



Режиссёры Григорьевы во главу угла ставят не сюжет, но любовь — любовь к Родине. Картина эта — замечательный памятник Шукшину, творение, достойное стать рядом с его собственными созданиями в нашем искусстве. Но она и большее, нежели это, — она земной поклон русской женщине и матери, русскому народу, его страданиям и мужеству, она — вера в его силу и непобедимость. Лучшие сцены фильма, такие, как эпизод проводов на фронт, верится, станут классикой нашего кинематографа.

Общественность Вологды».

«В фильме всё правда — и люди, и песни. Ведь и я писала на газетах, и помню проводы на фронт, и всё другое.

Сибирячка».

«Нас, молодых людей, не знавших войны, фильм взволновал и расстрогал. Часто отмакиваешься, когда родители начинают вспоминать свою молодость, детство, а вы вдруг заставили посмотреть на всё это другими глазами. Мы плакали, мы были счастливы, что в наше бешеное время в нас есть ещё что-то прекрасное, что-то святое. Спасибо!

Студентки».

«Я смотрела фильм со своими однокурсниками. Они разных национальностей. Один азербайджанец сказал: «Какая она русская, эта картина, а так близка мне...»

Я думаю, если фильм по-настоящему русский, он дойдёт до зрителя любой национальности.

П.Шакало, студентка ВГИКа».

«Это фильм о моей Родине», — написал вьетнамец после премьеры в Доме дружбы с народами зарубежных стран.

Шукшин — явление национальное и интернациональное. В этом убеждают его книги, переведённые на многие языки. Об этом свидетельствовали в годы существования СССР выступления приезжавших на Шукшинские чтения писателей из разных республик.

— На нашу литературу самое большое влияние оказали Горький, Маяковский и Шукшин, — сказал с трибуны в Сростках писатель из Чувашии.



Это же подтверждали гости из Литвы, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Украины, Эстонии, Калмыкии.

Книги Шукшина стали в дни съёмок настольными для тогдашнего первого секретаря Алтайского крайкома партии Николая Фёдоровича Аксёнова. Многие встречи он заканчивал самыми известными строчками Шукшина:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку...»

– От вашей работы – писателей, кинематографистов, художников – и мир делается другой! – уверял партийный лидер. – Мы уберём алтайский хлеб, если вы своим трудом порадуете нас. А что не по силам будет нам одним – сделаем вместе!

В эти минуты мне радостно вспоминалась поездка с Людмилой Зайцевой по хлебородной Кубани.

В станице Новолабинской в Доме культуры дожидались нашего приезда. А мы опаздывали на целый час и не могли сообщить об этом. И целый час директор совхоза по имени Степан Сергеевич, фамилию которого я почему-то не записала, выступал перед залом: все хозяйственные вопросы решил, все собрания вперёд на полгода провёл, лекцию о международном положении прочитал – но не дал землякам разойтись, не позволил разувериться в людях искусства. Дождались вместе.

Какова же была благодарность зала потом, после фильма!

Сам Степан Сергеевич ни одной премьеры не пропускал. И народ тянулся за ним.

– Мы хлеб для вас растим, а вы – свой – для нас! Как же иначе? – говорил он. – Всё можно успеть, при любой должности, было бы желание. Правда, на своей личной жизни надо



крест поставить. И объяснить это своим домашним. Я – объяснил...

У кого-то из поклонников таланта Василия Макаровича я вычитала и запомнила выражение «по-шукшински близкие люди».

Сколько их, этой великой близостью близких людей довелось мне видеть по всей стране!

Но больше всего их в Сростках, в конце июля, в день рождения Шукшина.

У подножья горы – музей, где можно всё о нём узнать. Но больше хочется искать, чувствовать не ушедшего, а живого Шукшина, коснуться его души, просиявшей под этим солнцем.

Наверное, она и впрямь там, на вершине Пикета, потому что всякий инстинктивно устремляется в гору.

И вот когда на высоте видишь и угадываешь Россию – бескрайнюю во все стороны, – тогда начинает казаться, что чуть поодаль, невидимый, сидит на горе Шукшин, такой, каким мы знаем его по заключительным кадрам «Печек-ла-вочек», – сидит босой и вольный, улыбчивый и говорит с хитрым прищуром: ну что, дескать, приехали, посмотрели? То-то...А теперь за дело!

Текут и текут вверх, вопреки всем законам, человеческие ручейки, медленно, но упрямо, как муравьиные. И в общем этом движении бок о бок и вечные труженики-крестьяне, и те, кто пишет о них или снимает фильмы.

Они идут на Пикет, к Шукшину. Там, наверху, им должна открыться Россия.

Не будем мешать, лишь послушаем голоса из книги отзывов музея.

«Я приехал из далёкого полесского села Малые Мошки.

Как я рвался в Сростки! Василий Макарович будет жить в моей памяти, пока стучит это сердце. Писатель Шукшин переживёт века. Ещё



настанет время, когда о нём узнают во всех уголках нашей зелёной планеты. Низко склоняют голову вместе со мной и мои родители перед этим удивительным человеком».

«Низкий, низкий поклон тебе за правду, за интеллигентность – за неспокойную совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется – для созвучия – «подпеть» могучему басу сильного мира сего, и – за сострадание судьбе народа. К тебе не заастёт народная тропа».

«Сростки для нас – второе Михайловское».

«Наша Родина всегда была богата талантами. Но когда великий талант сочетается с великой человеческой простотой – это людьми никогда не забывается».

«Если бы не смерть, это был бы писатель выше Останкинской башни. Скорблю, горюю о нём, горжусь безмерно».

«Поездка сюда для каждого человека – очищение».

«Когда дышишь воздухом, которым дышал настоящий человек, тогда пробуждаются добрые чувства и желание делать большие дела».

«Клянёмся в верности великому русскому художнику, совести и чести нашего народа».

«Что я могу сказать о нём? Что могу добавить? Ничего. Посмотрю ещё раз на Сростки, возьму его книгу и попробую стать лучше».

Глава ШЕСТАЯ ПРОКУДИНЫ



омню, как-то приехал Вася домой шибко расстроенный, аж с лица помутнел, – вспоминала мать Шукшина. – Что такое? – спрашиваю. Долго он молчал, а потом рассказал, что был в колонии для малолетних. Что ж, говорю, Вася, переживать-то так – ведь за дело сидят там. Да нет, говорит, мама, ведь дети они почти: скажешь им весёлое – смеются, расскажешь грустное – плачут. Из них, как из пластилина, всё, что угодно, вылепить можно. Кто по глупости

Де сачиво и подобно м
чента може също
възникат и изненади

к ним, подружки, к нам ячмень молоке
бульжал, и мы смеялись, как будто выпьет молоко
ко в рот, а мы смеялись, как будто выпьет молоко
льшико с ячменем. Потом мы смеялись, как будто выпьет молоко
один из четверых, склонив голову, смеялся, как будто выпьет молоко
сама Егорья смеялась, как будто выпьет молоко
и берусь сказать, как будто выпьет молоко
еще очень внимательно
очень неостороженно
страдался Шумахер, как будто выпьет молоко
судьба его поломала горько-
горько, как будто выпьет молоко
такое болопо невинно-
верил матери — а отца
он не
он, чтобы об
он не
настолько
мам

«ПРОКУДИН»

REHISE 9.
45 80C
60003HMT
104
1000000
2000000
3000000



РОКУДИНЫ

Как слово наше отзовется

«ПРОКУ- ДИНЬ»



«ПРОКУ- ДИННЫ»



своей туда попал, а кого и родители так воспитали. Жалко мне их: не я буду, если что-нибудь для них не сделаю...»

Быть может, здесь они, истоки фильма «Калина красная» – посещение Шукшиным Бийской колонии весной 1967 года? Так соблазнительно и так хочется найти точку отсчёта в судьбе произведения! Многие и называют именно этот момент.

Но если бы всё в душе творца происходило так чётко и поэтапно – можно было бы «выносить» любое детище, «заказывая» впечатления. Впрочем, и заказывают, и вынашивают... Лишь у здорового потомства и сам создатель не угадает «момент зачатия».

Быть может, такая «Калина...» – она жизнью всей предопределенная, тогда ещё постучалась в душу, когда было будущему писателю всего четыре года.

«В 1933 г. отец арестован органами ОГПУ. Дальнейшую его судьбу не знаю, – писал Шукшин в автобиографии. – В 1956 г. он посмертно полностью реабилитирован».

Нигде, никогда, ни письменно, ни в разговорах, не касалася Василий Макарович этой темы. Что было в самом тайном, самом болезненном уголке его души? Ведь было же страшно, было памятно!..

«– Забрали мужа... Выдумали глупость какую-то. Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну, а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались, Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьёт...»

Это воспоминание тоже из давних дневников режиссёра Рениты Андреевны Григорьевой. Тогда мать писателя, Мария Сергеевна, рассказывала ей:

«– По Чуйскому тракту много заключённых работало. Бывало, им потихоньку то хлебушка, то картошки сунешь. У самих тоже не больно было. Своего всё высматривала. Нет, не нашла».

Об этом же писал и сам Шукшин в рассказе «Чужие»:



«На шоссе (на тракте) работали тогда заключённые, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили яйца, молоко в бутылках... какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрёт горлышко рукавом, накажет:

– Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

С детских лет внимательно и настороженно всматривался Шукшин в тех, чья судьба поломана тюрьмой. Сердце его болело о невинно – он верил матери – пострадавшем отце.

Тогда научился он не сторониться заключённых, а вглядываться в них и пытаться угадать прошлое. Разные варианты судеб проигрывались в воображении и потом, обретя плоть в конкретных людях, становились рассказами.

Даже не задаваясь такой целью, нельзя не заметить, как много у Шукшина героев, идущих по жизни, как по краю обрыва.

В 1967 году разгорелись споры вокруг образа Стёпки в фильме «Ваш сын и брат». Критика вдруг всполошилась, что такой вот бежавший «зэк», воспетый с экрана, непременно кому-нибудь «саданёт под сердце финский нож».

Далеко ещё было до «Калины красной», но посмотрите, как страстно уже тогда отстаивал Шукшин своего героя.

«Я люблю его. Он, конечно, дурак, что не досидел три месяца и сбежал. Не сбежал снова воровать и грабить. Пришёл открыто в свою деревню... Не надо бояться, что он «прынёт ножом» и, «кривя рот, поёт блестные песенки...» Вот сказал: не надо бояться. А как докажешь? Ведь сидел? Сидел. Но всё равно не надо бояться. Я хотел показать это – что не надо бояться – в том, как он пришёл, как встретился с отцом, как рад видеть родных, как хотел устроить им праздник...»

Всегда Василий Макарович – как потом его Прокудин – «тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определённо».



Василий Шукшин выступает в Бийской колонии
для несовершеннолетних. 1967 год



«Ведь дети они почти: скажешь им весёлое –
смеются, расскажешь грустное – плачут...»



90-е годы. Шукшинские чтения в Бийской колонии.
Около портрета – Анастасия Сергеевна Пряхина



Анатолий Заболоцкий снимает «Калину красную»



Эта «резкая очерченность», эти удасть и безудержность – глубоко в крови у шукшинских драчунов – потомков тех, кто рискнул когда-то одолеть необжитые сибирские края. Так и передавались, видимо, эти свойства характера по наследству.

«И вот дрались мы – край на край – страшное дело, – вспоминает Максим Думнов в рассказе «Наказ». – *Чего делили, чёрт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили».*

Можно по-всякому отнестись к Максиму Думнову, но вот уж о ком трудно подумать нелестно, так это о Матвее Рязанцеве, председателе колхоза, герое рассказа «Думы».

«Хорошо ещё, что не дерутся теперь из-за девок, – думает он, – раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так – кулаки чесались и силёнка опять же была. Надо же её куда-нибудь девать».

Та же буйная кровь текла и в шукшинских жилах. Вспоминают, что Василий Макарович рассказывал «о старом своём деде, который подбадривал кулачных бойцов, а потом, не выдержав, сам ввязался в бой на кулачках и одолел противника».

Большинство героев Шукшина выясняет отношения при помощи кулаков. Давайте проследим.

Вот Костя Худяков из рассказа «Други игрищ и забав» отправляется к родителям «жениха» мстить за поруганную честь своей сестры. Вместо того чтобы объясниться словами, он «...прошёл мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака; пестик был небольшой, аккуратный, тяжёленький».

Сашка Ермолаев из рассказа «Обида». Спущененный хамом с лестницы, он ринулся домой за молотком – отомстить. Только жена и удержала, а то бы!..

Помните, во что превращается Генкина беседа с дядей Гришей в рассказе «Гена Пройдисвет»? Начали они с рассу-



ждений об истинности дядиной веры в Бога, а потом – «дядя Гриша загрёб ногой его стул, и Генка упал...»

Даже робкий стариk Максимыч из рассказа «Ночью в бойлерной» умудрился получить десять суток – угораздило его вмешаться в чужие семейные дела!

Два года условно присудили Веньке Зяблицкому из рассказа «Мой зять украл машину дров!» За измывательства над тёщей, так сформулировали.

А «Танцующий Шива»? «В чайной произошла драка», – так сразу и начинает Шукшин. «Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого...»

Однако драки эти, как ни странно, мы понимаем и принимаем – потому что в них всегда сцепляются два мировоззрения, два взгляда на жизнь и мораль. Не каждый человек умеет словами сформулировать своё отношение к подлости и низости. Но и не высказать его – пусть кулаками! – герой Шукшина не может.

В одном из последних рассказов – «Боря» – Василий Макарович ещё раз расписался в поддержке тезиса о том, что добро должно быть с кулаками.

«Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове – единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо».

Того больничного подонка из рассказа, в конечном счёте, и побили – благо располагалась лечебница в лесочке. И только после этого испытали люди, придавленные хамством, нечто вроде удовлетворения. Потому что защитили своё и чужое человеческое достоинство.

Вот и получается, если взглянуться, что подравшийся – не обязательно хулиган, а посаженный – не обязательно конечный человек.



Хочу быть правильно истолкованной. Шукшин, как я его понимаю, отнюдь не оправдывает всех осуждённых и всех потенциальных преступников. За каждым преступлением должно следовать наказание. Но. Во-первых. Во-вторых. И в-третьих.

Есть на свете «*материнское сердце*» – его обобщённый образ предстал в одноимённом рассказе. И он не отпустит того, кто прочитает эту маленькую поэму о материнской жалости.

Нет, не освобождения от наказания ищет мать, когда идёт от начальника к начальнику с верой, что «*добрые люди помогут*». Об одном она мечтает: чтобы при решении судьбы её Витьки все эти начальники, прокуроры и судьи – «*народ тёртый, до жалости не охочий*» – были бы жалостливы. Ведь кто, кроме матери, знает, что Витька, «*он тверёзый-то мухи не обидит*», что он «*работягий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был*», что ввязался он в драку потому лишь, что его обворовали – отомстить решил «*городским прохиндеям*».

И кто, как не мать, знает, что – хоть есть закон и есть люди, которые следят за его соблюдением, – есть среди этих людей и такие «*представительные мужчины*», как тот, в сиром костюме и с ямочками на щеках, который чуть было не засудил Веньку Зяблицкого из рассказа «*Мой зять украл машину дров!*»

«*Судья молчит, – пишет Шукшин, – а этот – в который уже раз – встаёт и говорит, что надо посадить, и всё*».

Много аргументов у таких «*представительных*», и главный из них: как «*важно на этом примере других научить*».

Но ведь этот «*пример*» – живой человек! И тюрьма – не курорт. Как пел бежавший из заключения Стёпка Воеводин, «*Эх, я думала-а, что тюрьма д это шутка, И этой шуткой сгубила д я себя-а!*»

Вот почему жалость – это не палка в колёса правосудия.

«*Жалость – это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать – самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое род-*



ное – вся состоит из жалости, – писал Шукшин в рассказе «Боря». – ...Оставь ей всё, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак...»

Когда я читаю «Материнское сердце» и то, как мать тайком от милиционера сунула сыну печеньюкку и яйцо, – сердце сжимается.

И вспоминаются слёзы маленького Игоря Хуциева над песней «В воскресенье мать-старушка...» Оказывается, задолго до рассказа с таким названием, задолго до первых своих книг болел Шукшин этой историей и пересказывал её приблизительно так, как потом писал: *«как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у неё – передачка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока...»*

И рассказ «Сураз» вспоминается – про непутёвого красавца Спирьку Растиоргуева, который в обиде и недоумении задумал «мокрое» дело. Но перед этим *«стал на припек, нашёл в потьмах голову матери, погладил по жидkim тёплым волосам»*.

И ещё всплывает в памяти то ли Куделиха из «Калины красной», то ли игравшая её белозерская Офимья Быстро-ва, потерявшая осуждённого сына бесследно. И ясно одно: никто из этих – и многих других – несчастных женщин не сломился в горе.

«...простая русская женщина-мать органически не способна ныть: любую невзгоду она переносит с достоинством – это вновь щемяще точно подтвердил экран», – говорил Шукшин о Куделихе-Быстровой.

А и все мы – такими матерями и бабками возвращённые, – что мы без их поддержки, без их веры в нас?! От сумы да от тюрьмы не зарекайся... Не ими ли, мудрими, сказано?

Параллельно с этой темой существует у Шукшина другая: о доверии к тем, кто сидит или возвратился «из мест не столь отдалённых».



После выхода «Калины...» он искренне удивлялся и радовался:

«Ведь сама ситуация-то в картине взята крайне условная, как любят говорить рецензенты – надуманная. В самом деле: в крестьянском доме (да и только ли в крестьянском?) так просто человека с улицы и ночевать-то не оставят. А тут не с улицы – из тюрьмы! И смотрите: люди естественно приняли невероятно условную ситуацию. Ни у кого не возникло даже тени сомнения насчёт правомерности доверия к такому человеку, как Егор Прокудин. Вот какова сила предрасположения нашего народа к добру, к тому, чтобы открыть сердце вся кому, кто нуждается в теплоте этого сердца. Я не мог не знать с самого детства этого качества советского человека, но здесь оно вновь прозвучало для меня как самое дорогое открытие».

В книге отзывов музея Шукшина на его родине есть такая запись:

«А мы из тех же мест, что и Егор Прокудин. Спасибо Шукшину, замолвил слово».

Значит, люди, вновь обретя свободу, не могли не приехать «к Шукшину» – так дорого было им понимание художника, сумевшего заронить во многие сердца веру в оступившегося человека.

Писали бывшие заключённые и матери Шукшина.

«Уважаемая Мария Сергеевна! Воспитывался я в детском доме и за свою жизнь не произносил слова «мама». Я пишу вам как матери. Хлебнул я горя в жизни. Но всё это уже позади. Как говорил ваш Василь, не всегда человеку должно быть плохо. Будет и хорошо. Ваш сын мне много дал для жизни. Нас связала «Калина красная». Он работал как исцелитель зла. Он прожил – и оставил людям самое прекрасное, которое не сотрётся никогда и на граните. Пишу вам – а ком стоит в груди... Целую вашу руку и благодарю за то, что вы дали миру чистого душой человека. Виталий Аникин».

«Очень тяжело, Мария Сергеевна, когда сознаёшь свои ошибки и понимаешь, что исправить ничего нельзя. Но взгляды мои в корне изменились, и большую роль в этом сыграли произведения вашего сына. Я



нашёл в них ответ на многие свои вопросы. Я нашёл, что кredo вашего сына – Вера в человека. И знайте, что бы ни случилось со мной, я хочу быть человеком и буду им. Владимир Колчин».

Еще до создания «Калины красной», выступая в Белозерске, говорил Шукшин свои знаменитые теперь слова о том, что «борьба за человека никогда не кончается. Не наступает никогда, не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. До самого последнего момента можно сделать. Всё равно как врачи относятся к больному, так, наверное, художники, и в целом всё творчество, к человеческой душе, к человеческой жизни обязаны и должны относиться».

Своей работой Шукшин как раз и являл пример такого творчества. Призывая в наше шумное и скоростное время «*про душу не забыть*», быть добре и внимательнее друг к другу, он прежде всего боялся за судьбы молодых.

«...люди недобрые, к нашему стыду живущие, иногда слuchаются более внимательными, – говорил он в Белозерске. – Они подбирают таких вот неопытных людей и обращают их в свою веру или приобщают к своему делу... А человечек хороший был. Душа у него была добрая».

Да, стояли у него перед глазами эти ребяташки!.. «Скажешь им весёлое – смеются, расскажешь грустное – плачут».

В одном из последних интервью Шукшин рассуждал о причинах столь нелепого поворота в ребячьих судьбах:

«Все родители хотят вырастить хороших людей. Но вот что получается. Отец говорит сыну правильные, хорошие слова. Потом сын выходит на улицу – там свои примеры. И как это ни горько, надо отважиться признать, что те слова, те авторитеты, которые за стенами дома, оказываются сильнее. Нельзя делать вид, что тех авторитетов нет, надо понять, в чём они оказываются сильнее».



Белозерск, 1973 год. Готовится эпизод с каруселью



Василий Шукшин на съёмках в Белозерске
(Фото Александра Торопова)



Это к вопросу о внешне благополучных семьях. А ведь скольких мальчишек толкает на скользкий путь безотцовщины!

Её и сам Василий Макарович после гибели отчима хлебнул досыта. Один из первых его рассказов – так и оставшийся неопубликованным, а может, и не записанным даже, – рассказ о парнишке-хулигане. Его содержание передаёт по памяти Игорь Хуциев в сборнике «О Шукшине». Слышал он его от Василия Макаровича в пору съёмок фильма «Два Фёдора», то есть году в 1957-м, когда Шукшину не было и тридцати.

Герой рассказа не слушает мать, не моет ноги, курит и пьёт пиво, хочет бросить школу. А однажды случается драка, потому что сын директора магазина хвастает деньгами – нагло и с вызовом выкладывая их. Герой-хулиган ударяет его. Почему ударяет? – переспросил маленький Хуциев. И тогда Шукшин «показал, как вытаскивал деньги сын директора магазина и как он, наконец, выложил трёшку: – Ещё и трёшку! – И понятно стало, что сдержаться при виде её было невозможно, что нужно и даже необходимо было дать по шее сыну директора магазина».

А дальше... дальше хулиган покупает на отнятые у того сынка деньги книгу, читает весь день... А потом моет ноги и – исправляется.

Вот такой незамысловатый и «розовый» в нашем изложении сюжет. Однако, зная писательскую манеру Шукшина, можно вообразить, как убедительно он мог бы быть написан.

Знаменательно, что уже тогда, оглядываясь на собственный путь, Шукшин догадывался, сколь важную роль сыграли в его жизни книги. Позже он скажет вполне определенно: «Книги выстраивают судьбы... или не выстраивают».

Сегодня, когда Шукшина нет, мы можем попытаться проследить, как его книги, его фильмы выстраивают чужие судьбы. Нет у меня свидетельств того, как повлияла на бийских колонистов встреча с самим Шукшиным. Зато есть множест-



во сочинений, писем и отзывов воспитанников колонии, для которых имя Шукшина – не пустой звук.

«Я хорошо запомнил фильм «Калина красная». Его герой, отсидев срок и выйдя на свободу, взялся за честный труд.

Как прекрасно показано в фильме, как он, сидя за рулём трактора, смотрит вперёд, оставляя за собой пластиры ровно вспаханной земли. Как прекрасно пахнет эта земля – его земля, земля всех людей его страны. И он горд собой, что сумел вернуться к честной жизни. Когда к нему пришли люди из прошлого, он, смело глядя им в глаза, отказался вернуться к ним.

Шукшина нельзя смотреть и читать равнодушно. В некоторых местах смеёшься до упаду, в других пробивают слёзы.

Когда знаешь о таких людях, которые жили где-то рядом, то чувствуешь такую ненависть к себе, – что я, человек полного благополучия, сижу в местах заключения, когда другие создают великие произведения. Я очень мечтаю вернуться в честную жизнь и быть полезным людям. С.Данилевский».

«В сорок лет Егор понял, что счастье человека измеряется не в деньгах, не в женщинах, а в простом, на первый взгляд, труде. И мне Егор Прокудин нравится не за то, что он сидел и «парень наш», а за то, что он не потерял человечности и смог «завязать» с преступным прошлым. Не беда, что человек понял свои ошибки в сорок лет. Но плохо, когда человек не поймёт их совсем. Владимир Давыденко».

«Прежде всего я вижу в Егоре сильного, волевого человека. Помните, как после отбытия срока он задал себе вопрос: «Как жить дальше?» В нём ещё пульсирует воровская жилка. Но всё, что он делал сразу после освобождения, скорее похоже на браваду, чем на осознанный поступок.

Егор в колонии понял, что настоящего счастья не может быть без семьи. Поэтому своё будущее он связывал с Любушкой. Иногда он срывается на грубость, но она у Егора прорывается как защитная реакция на попытки проникнуть к нему в душу, израненную жестокостью, цинизмом и подлостью «сотоварищей». Он понял, что нет у него больше дороги назад, а поняв, принял твёрдое решение и не отступил от него даже под угрозой смерти. Вот такой Егор, а не тот, который после освобождения пришел на «хазу», нравится мне.

Моя мечта – взять из образа Егора всё хорошее, о чём он болел сердцем, к чему стремился, а главное – силу воли. Уверен, чтобы выработать эти качества, надо начинать задолго до освобождения готовить себя к честной жизни на свободе. Например, не каждый бросит курить, хотя в



принципе это очень просто. Но не у всякого хватает характера, силы воли. «Человек без воли – игрушка в руках проходимца». Эти слова, пожалуй, не устареют никогда. И надо стать таким, как Егор Прокудин, – сильным и прямым духом, чтобы идти по жизни своим путём. И.Рученко».

«Мне лично Егор понравился своей самостоятельностью, остротой ума. Но я не могу его простить за отношение к матери. Как можно оставить женщину, которая подарила тебе жизнь? А он это сделал. Да, наступило в его душе раскаяние за такое отступничество, но он всё же пожелал остаться в стороне. Пусть ему мешала объявиться матери любая причина, может, даже мысль о том, что он недостоин матери. И всё равно – мать есть мать. В.Алтухов».

«Слова Есенина «как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок» относятся и ко мне. За свои семнадцать лет я был уже дважды судим. Сейчас отбываю срок по второй судимости. Совсем недавно мне доставляло удовольствие кого-нибудь избить, я мог, не задумываясь о гнусности поступка, ограбить человека. Почему-то в голову не приходило, что общество наше таких «героев», как я, относит к разряду подонков, паразитов.

Но совершенно неожиданно «в душе настало пробуждение», разбужевалась совесть. А началось всё со знакомства с жизнью и творчеством Василия Шукшина. Сборники рассказов «Точка зрения», «Далёкие зимние вечера», роман «Любавины» я читал и перечитывал. Книги, как магнит, притягивали к себе. Почему?

Потому что книги Шукшина – это учебники жизни. Они будили во мне мысль, толкали к размышлению о новой, честной жизни, заставляли мечтать о своём будущем.

Шукшин открыл простой секрет. У меня никогда не было чувства ответственности ни перед мамой, ни перед обществом, которое предоставляло мне все жизненные блага. А чем же я платил за это?

Не очнусь я сейчас, что ждёт меня впереди? Единственная дорога – дорога Егора Прокудина. Ведь он понял смысл жизни только в сорок лет, а мне всего семнадцать. Не лучше ли одуматься сейчас? И я твёрдо решил: освобожусь, буду честно работать, свои ошибки обязательно исправлю, чтобы стать полноправным членом нашего общества. А.Кузнецов».

«Печальный финал фильма наводит на серьёзные размышления. Всем нам известно, что «воров в законе» давно уже нет: жизнь вышибнула их за борт, но встречаются еще иногда их «осколки». Только сейчас они стараются завуалировать свою звериную сущность, рядятся работягами и исподволь ведут вредную деятельность. Не каждый разглядит их нутро. Они, как правило, делают ставку на молодых: молодому легче внушить чужие убеждения, с ним легче сыграть на ложном чувстве



чести, геройства. На первых порах молодого стараются «благодетельствовать» – приодеть, подкормить и прочее. Всё делается с дальним прицелом: опутать его, как паутиной, долгами, опекой, внушить ему, что он «обязан».

Всем нам необходимо пересмотреть, переоценить своё прошлое, сделать верный вывод: жить личным трудом, уважать интересы общества. Чтобы не получилось, как у Егора Прокудина, который не смог пре-возмочь мучительный стыд перед матерью. Мать она мать и есть, она бы поняла, простила, да вот Егор-то сам себе не простил бы прошлого.

Но его, Егора, можно оправдать. Что его толкнуло на преступный путь? Нужда в куске хлеба. Время было голодное, раздетое. Сработало естественное желание жить, а чтобы жить, надо есть, а есть нечего, купить не на что. Пришлось воровать. Сейчас же крадут не ради куска хлеба, а ради удовлетворения желания выпить, обогатиться, красиво, с шиком провести вечер в ресторане. А в результате – серые вечера в течение многих лет в ИТУ. Лично я на этом ставлю точку. Жизнь одна. Свобода и тепло семейного очага – превыше всего! С.Гущин».

Такие вот строки. Можно цитировать ребячью слова долго. Вот эти, например, не могу обойти стороной:

«Я обязательно прочитаю теперь всего Шукшина. Когда настанет день моего освобождения и я окажусь за этими стенами, я обязательно съезжу в Сростки – на это священное для миллионов людей место. Олег Морозов».

Не знаю, как вам, а мне верится. Приехали же в Сростки двое, что оставили в музее Шукшина свои автографы освободившихся людей!

Не могу, однако, отделаться от предчувствия, что кто-то вставит здесь памятную фразочку из «Калины красной»:

– Им там делать-то нечего, вот они и пишут!

Но ведь как пишут и что пишут – возражаю мысленно. Как светло вспоминают свои лучшие минуты!

«Когда я вместе с дедом еду на коне проверять лесные угодья, мне хочется петь».

«Как приятно вставать, когда ещё все спят, вдыхать в себя воздух утра, прислушиваться, как просыпается природа.



А еще приятней встречать восход. У нас в Сычёвке очень хорошо видны Алтайские горы и вершина Белухи, покрытая ледником. Когда над ней поднимается солнце, вершина переливается множеством разноцветных огней».

«Им там делать-то нечего!..»

А вот послушает такое герой рассказа «Охота жить» и скажет:

«— Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошо, вот так жить надо. Ненавижу!.. Не буду так жить. Врут! Мертвениной пахнет! Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все любим, а ты живых полюби, грязных».

Да, я помню:

«Жалеть... – размышлял Шукшин. – Нужно жалеть или не нужно жалеть – так ставят вопрос фальшивые люди. Ты ещё найди силы жалеть...»

Вот я – пустила бы я, как старики Байкаловы, в свой дом такого незнакомого Егора, хоть и «со справкой»?

Оно красиво, когда на экране да на бумаге. А вот в жизни!..

Каюсь: когда лязгнула за моей спиной дверь в проходной Бийской колонии, студёно стало спине. Когда шла по территории, провожаемая сотнями настороженных глаз, хотелось схватить за руку кого-то сильного, способного защитить. Когда дали мне в зале слово и коричневый мрак одажд был ответом, – каюсь – я не закончила речь, сбилась.

Чего боялась я там, за колючей проволокой? И чего боимся мы, встречая вечерами группы подростков?

Мы сразу им не верим, сразу п од о з р е в а е м. Как же сильно чувствуют это те, кто на многие годы облачён в одинаковую одежду с фамилией на груди! Их связь с миром ограничена, и примеры для подражания – они все тут, в четырёх стенах.



«Для меня примером является Х. Это оперативный работник нашей колонии. Мне очень нравится в нём строгость, твёрдость характера, смекалка. Я не знаю его слишком близко, но, поговорив с ним два раза, я уверен: он настоящий советский человек, без изъянов и погрешностей».

И не приведи судьба оказаться этому человеку – человеком «с погрешностями»! Как долгожданно и страстно возносятся здесь люди на пьедесталы, так мгновенно и падают с них. И тогда снова – крушение всего, что с таким трудом возрождалось в ребячих душах.

Как же нужны ребятам встречи с хорошими людьми! И в Бийской колонии для несовершеннолетних они нередки.

«Встреча с артистом Алексеем Ваниным произвела на меня огромное впечатление. На примере Шукшина он показал, какой талант нужен для работы в кино и какой талантливый был наш земляк. Раньше в моих взглядах было много ошибочного, фильмы я смотрел бездумно. После разговора с Ваниным я понял, что в каждом фильме надо докапываться до истины».

«Ванин поразил меня своей простотой. Раньше мне казалось, если человек знаменитый, то он должен и вести себя как-то особенно. Теперь я знаю, что ошибался, что актёры – обычные люди, и с ними мне хочется встречаться ещё».

«Самая хорошая черта Ванина это то, что он не курит и не пьёт. В кинофильме «Калина красная» он устроил самосуд над бандитами, которые убили Егора. Этот эпизод говорит о том, что Алексей Захарович готов постоять за своего друга, он готов даже жизнь отдать ради дружбы».

Положительные герои отождествляются с самим актёром – ни больше, ни меньше. Как же велика ответственность тех, кто сумел хоть на миг зажечь в загнанных и отчаявшихся ребячих глазах свет надежды!

Я видела этот свет, когда выступали в колонии Алексей Ванин и режиссёры Ренита и Юрий Григорьевы, сестра Шукшина Наталья Макаровна и его племянник Сергей Зиновьев.

Бийские колонисты одними из первых увидели оба фильма режиссёров Григорьевых: художественный «Праздники детства» и документальный «На родине Шукшина». Чем это было для ребят, говорят их отзывы.



«Шукшин – это имя я узнал здесь, в колонии, и по-настоящему полюбил его. Когда из фильмов Григорьевых я столько узнал про Шукшина, узнал всю его жизнь, мне стало не по себе. Ведь и я мог бы быть человеком! Я теперь стараюсь прочитать все произведения Шукшина. Н. Целиков».

«Этот жаркий июльский день останется в памяти надолго. Раньше мне никогда не приводилось присутствовать на Шукшинских чтениях. И вот в таком месте, как колония, это было для меня очень важно. Я давно увлекаюсь Шукшиным. После просмотра фильмов о нём у нас с ребятами был очень серьёзный разговор.

Мне доводилось много читать о Сростках, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда у меня будет возможность, я обязательно съезжу на родину Шукшина и в Москву – поклониться его могиле. Д. Пестриков».

А воспитанник Репин прислал Григорьевым такое письмо:

«Вчера посмотрел ваши фильмы. Детство и юность Василия Макаровича здорово похожи на моё детство и юность. Но только я оказался намного слабее его своей духовной силой.

Из ваших фильмов я понял, что для человека нет неприступной высоты. Наглядный и неопровергимый пример этому – Василий Макарович. Ведь он из крестьянского паренька стал такой вышиной – писателем, актёром и режиссёром. Нужно только поставить перед собой цель и идти к ней, не отступаясь.

Мне восемнадцать лет, пора начать размышлять, подумать над сложными вопросами, кто есть кто. И ваши фильмы помогли мне найти свою дорогу. Конечно, не обязательно быть писателем, можно быть хорошим токарем, и это лучше, чем плохим инженером. Нужно только работать и работать, как работал Шукшин.

И ещё хочу поблагодарить вас за то, что вы постоянно помните об этом необыкновенном человеке. Да, он умер физически, но в наших сердцах, в фильмах и книгах он жил, живёт и будет жить вечно».

Актёр Геннадий Воронин, сыгравший в картине «Праздники детства» роль отчима Шукшина, признавался ребятам:

– Я в юности много читал, но как-то без разбора. И случайно наткнулся на Шукшина. Сюда, в родные его места, я



приехал работать из-за него! Жизнь моя от Василия Макаровича перевернулась. И я от души желаю, чтобы с каждым из вас случилось подобное! Всегда помните его слова, написанные над входом сюда:

«Труд, труд и раздумья. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий. Везде».

После всего сказанного не покажется странным, что именно в этой колонии весной 1983 года открылся единственный тогда в своём роде музей – музей Шукшина. И первым его экспонатом стала фотография от 27 апреля 1967 года: Шукшин выступает перед воспитанниками.

Краевой музей Барнаула во всём пошёл навстречу создателям, предоставил копии документов и рукописей. Появились книги, фотографии, кадры из фильмов, письма, воспоминания. Земля с могил Василия Макаровича и его матери. Газетные заметки воспитанников, их рисунки к шукшинским рассказам, поделки. Лучшие ученики проводили в музее экскурсии.

Это – факты. Перечисляя их, вовсе не хочу подвести главу к мажорному окончанию: видите, благодаря музею и полезным встречам скоро не останется в колонии ни одного не обновлённого человека!

Если бы так... Если бы слова искренние и добрые оказывали мгновенное действие! Увы, лишь падение может быть стремительным. Восхождение всегда длинно и трудно. И в нём, в этом восхождении, так нужны наши всеобщие помошь и доброта.

Слышу реплику Шукшина в общем споре:

«Добрый, добрый... Эту медаль носят через одного. Добро – это доброе дело, это трудно, это не просто».

Да. Потому и преклоняюсь я перед людьми, которые жизнь свою посвятили оступившимся ребятам. Среди них отличник народного просвещения Анастасия Сергеевна Пряхи-



на. Пришла она работать в колонию совсем девчонкой. Была влюблена в литературу и верила: судьбу выстраивают книги. После того, как в 1967 году в колонии побывал Василий Маркович, она решила: её воспитанники должны выстраивать жизнь по Шукшину!

«Здесь, в колонии для взрослых, я встретил парня, переведённого, как и я, из нашей детской, — сообщал в письме Пряхиной её бывший воспитанник. — Разговорились. Спрашивала: «А ты знал Анастасию Сергеевну?» Он отвечает, что Вы не преподавали в их классе, но иногда подменяли учительницу литературы. «Она читала вам книги Шукшина», — заключаю я. Он удивляется: «Как догадался?» А я-то знаю, что у Вас на уроке он не мог не услышать о Шукшине».

Музей Шукшина — дело рук Анастасии Сергеевны. Почти все отзывы и сочинения, приведённые в этой главе, написаны на её уроках и были сохранены ею. Сберегала она и множество писем, которые продолжали писать ей те, кто стал свободным и честным человеком.

«...недавно бригадиром назначили, а на торжественном собрании в президиуме сидел».

«...девушка понравилась: открыть ей своё прошлое или не стоит?»

Как её хватало на всё и на всех — трудно объяснить. Но только твёрдо знала Анастасия Сергеевна: «борьба за человека никогда не кончается». И по приглашению бывшего колониста летела за тысячу километров на свадьбу — чтобы убедить парня и его избранницу, что он вернул себе человеческое доверие.

«Добро — это доброе дело...»

И это бесконечное дело. Потому что уходят одни ребята — приходят, увы, другие. И многие из них не слыхивали ни о добре, ни о Шукшине.

Но правда его, потрясшая современников, непременно когда-нибудь всколыхнёт несчастливые ребячью души.

«В рассказе «Охота жить» парень убивает старика, который сделал ему добро. Думаю, что парень поступил, с одной стороны, правильно, может, ему грозил расстрел. И вдруг старик задумал что-нибудь недобroе? В его положении нужно, чтобы его никто не видел. А с другой стороны, погиб человек, хоть и старый. И в душе у меня сталкиваются эти два смысла».



сла. И как я поступил бы, не могу решить», — откровенно сознаётся в сочинении один из воспитанников.

Нет, это не просто уроки литературы, это уроки жизни, и каждый день на них приходится взвешивать добро и зло. Что перетянет в душах, доверчиво раскрытых учителю?

«Я киргиз, язык мой беден, и порой я не в силах выразить те чувства, которые питаю к вам, Анастасия Сергеевна. Будь я поэтом, я бы непременно сочинил про вас стихи. Потому что честнее вас я пока никого не встретил. А я люблю, когда торжествует справедливость, и не могу терпеть подлецов и подхалимов — под этими масками скрываются настоящие ничтожества».

«Я долго думал, почему вы пошли работать сюда, в колонию. И пришёл к выводу: для того, чтобы помочь таким, как я, снова почувствовать себя человеком, исправить себя изнутри. Я помню наш классный КВН. Благодаря вам я тогда совсем забыл, что я преступник, и с таким подъёмом отвечал на вопросы, слушал музыку. Вы видите нас насквозь, и хочется оправдывать ваше доверие. Чувствую, что где-то в самой глубине моей ещё сидит тот паразит, который совершил преступление. Но с каждым днём он становится всё хилей и меньше».

«Человек, на которого я хочу быть похожим, это вы, Анастасия Сергеевна. Сначала я хочу описать, как я вас понимаю. Во-первых, вы нравитесь мне тем, что презираете преступные черты в характере людей. Во-вторых, можете найти подход к любому человеку. И моралью своей можете прижечь любого паразита.

Я уже писал вам, что мой любимой предмет — русский язык. Ни по какому предмету я не понимаю так материал, как по русскому. Вы для меня сделали очень многое, очень многому научили. Я впитываю в себя всё хорошее, как губка.

Колония сильно, даже очень сильно повлияла на меня. Я сам себя сравниваю с тем, какой был я три года назад, и что вы думаете? Да, я увидел, что я стал не тем, кем был раньше, и я стараюсь стать ещё лучше. Когда я попадаю в затруднительные положения, я вспоминаю вас и думаю, как бы поступили вы. И это помогает мне не ошибиться.

Если вы хотите, то можете вырвать это сочинение из тетрадки и оставить себе на память. И я прошу вас, когда вы будете объявлять нам результаты, не называть моей фамилии, что именно я написал сочинение про вас. Можете сказать, что нашлись такие люди. Это сочинение я полностью посвящаю вам».



Право же, эти слова сложились не просто.

И это те зачатки добра, которое прорастёт когда-нибудь в смятенных душах.

Глава СЕДЬМАЯ СРОСТКИ

Полагают, будто название родного села Шукшина происходит от того, что в этом месте «безымянный большак срастается со знаменитым Чуйским трактом». Другие считают, что родилось оно от характерной приметы в русле Катуни.

Пусть так. Для меня в этом имени есть иное: здесь случились очень важные для России с р о с т к и человеческих с у д е б.

В 1867 году сюда из Самарской губернии прибыл Павел Павлович Шукшин, прадед Василия Макаровича по отцу. Через тридцать лет оттуда же сюда же переехал дед писателя по материнской линии Сергей Фёдорович Попов.

Следствием этих случайных переселений на Алтай явилось рождение 25 июля 1929 года того, о ком мы вели речь.

Скольких людей Шукшин ожёг своей жизнью! Скольких пробудил своей смертью! Всё, что связано с ним, обладает удивительной заряжающей силой: каждый прикоснувшийся к его жизни, к его родине обречён выйти в мир обновлённым. О том свидетельствуют приведённые в этой книге человеческие документы и разительные перемены в судьбах многих людей.

Остается добавить, что на XV Всесоюзном кинофестивале фильм «Праздники детства» получил первый приз. В 1983 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. Высокого звания были удостоены авторы сценария и режиссёры Ренита и Юрий Григорьевы, оператор Николай Пучков, ком-



позитор Павел Чекалов, художник Галина Анфилова, актриса Людмила Зайцева.

Родина Шукшина повенчала исполнителей главных ролей Людмилу Зайцеву и Геннадия Воронина. У них родилась – такая долгожданная для Людмилы – Василиса, крёстная дочь Алтая. Был бы сын – назвали бы Василием...

Геннадий Воронин после «Праздников детства» окончил Высшие режиссёрские курсы и свою дипломную работу «Два берега» снимал на Алтае. Дебютный фильм Воронина первыми, по традиции, увидели Сростки.

Квартиру Григорьевых на Комсомольском проспекте в шутку и всерьёз называли гостиницей «Алтай» – здесь мог найти приют не только любой сибиряк, но и просто единомышленник. Здесь сошлись навсегда многое дорог и судеб.

А начиналось всё тогда, в далёком 1963-м, когда впервые побывали Ренита и Юрий Григорьевы на Алтае. Время шло и то сводило их с Василием Макаровичем, вплоть до того, что Шукшин подолгу жил в их квартире, то вдруг разводило на годы. Всем казалось – всё успеется, вот закончатся дела...

А заканчиваются жизни.

На похороны друга Ренита Андреевна летела с Горного Алтая, с легендарной горы Белухи, где всю жизнь мечтал побывать Шукшин.

Теперь он там – в имени ледника, на котором берет своё начало свою равнину Катунь.

В начале 1979-го Ренита Григорьева летела на Алтай – хоронить Марию Сергеевну Шукшину. Казалось, рвётся последняя ниточка связи со Сростками...

Летом этого же года, в день пятидесятилетия Шукшина, супруги бродили по селу, прощально вспоминая знакомые его уголки. Пора заняться чем-то настоящим, думали они: возраст требовал. Немало написанных Ренитой Андреевной сценариев ждали своего воплощения на экране.



Нина Веселова, 1974 год, Вологда. 40 дней назад не
стало Василия Шукшина. Вечер памяти



Супруги Григорьевы в фильме Шукшина
«Живёт такой парень»



Ренита Григорьева и Нина Веселова на горе Пикет.
1979 год



После фильма



Усть-Лабинск Краснодарского края. В центре Ренита Григорьева с Людмилой Зайцевой и её матерью



Юрий и Ренита Григорьевы после показа «Праздников детства» в Таллине на XV Всесоюзном кинофестивале, где картина получила первый приз



Супруги Григорьевы в гостях у детской киностудии
«Романтик» города Сокол Вологодской области



Юрий Григорьев и Лилия Борисова с сокольскими
кинолюбителями после экскурсии по ВГИКу



Но всё отодвинула в сторону рука судьбы: режиссёрам неожиданно предложили снять фильм о Шукшине.

Вот тогда и воскресла в памяти первая поездка в Сростки. И стало ясно, что это, а не что-то иное, было главным для них, что всегда, все годы, параллельно со своей московской жизнью они жили Алтаем. Шукшинские истоки стали и их творческой средой, принципы нередко формировались одиними и теми же людьми и событиями.

Никогда словесно не заявлявшие о себе как о друзьях Василия Макаровича, они работой своей доказали своё кровное родство с ним. И тем самым встали на путь, на котором не может быть компромиссов.

— А ты в Москве Рениту Андреевну знаешь? — спросила меня летом 1977-го Мария Сергеевна Шукшина.

— Нет, никого я из кино не знаю, кроме вашего сына.

— Познакомься. Милосердный она человек!

Но не влиться в поток, не тебе предназначенный. Не придёшь ведь и не скажешь: подружиться советовали.

Однако осенила меня на прощанье крылом Мария Сергеевна, светлая ей память.

Год 1979-й, май, в Вологде — очередной смотр любительских фильмов, проводимый Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры.

Я на нём — представитель областной прессы. И вот у меня за спиной, в темноте зала, кто-то кому-то произносит тихо:

— А которая в жюри Григорьева?

Что мне в этой фамилии?..

— А зовут её как?

И тут я слышу редкое и потому запавшее в память имя!

Вот так и струятся судьбы людские, чтобы — каждая в своё время — слиться с большой полноводной рекой, обретя



в ней не только покой и уверенность, но и чувство собственного пути – тоже.

Потому сделали мы любительский фильм по местам съёмок «Калины красной».

Потому окончила я Высшие курсы сценаристов и режиссёров.

Потому родилась эта книга.

Потому я знала и знаю, что должна делать на этой земле.

И да пребудет во мне это величайшее из ощущений навечно!

Но когда вспоминаю кинозал и пустые ряды, куда могла бы я сесть, – вдали от тех людей, говоривших во тьме о Григорьевой! – я не берусь судить, что есть случай и что – неизбежность...

Позднее поняла я, что солгала Марии Сергеевне: знала я в лицо Рениту Андреевну. Это она поддерживала мать у гроба сына 7 октября 1974 года. Близко я стояла и всё видела.

И понимала, что это – душа Шукшину родная.

А потом возила я Григорьевых по местам съёмок «Калины...»

Посетили мы в Тимонине бывшую «Чайную».

Прошлись по деревушке Садовой и поклонились Феклисте Молоковой и Василию Голубеву.

Прикоснулись к брёвнам баньки, в которой парились по фильму Егор с Петром. Постояли на мостках, с которых нырнул в озеро «ошпаренный» Алексей Ванин.

Оттуда, от озерка, по-прежнему видна была церковь – та самая, возле которой плакал в фильме Прокудин-Шукшин.

Искали, но так и не нашли мы на деревенском кладбище могилку артистки из народа Офимьи Быстровой...

Но набрела я вновь на чей-то крестик со стихами... не набрела – я искала его! Мучительно хотелось перечитать и записать омытые дождями строки.

«Не время тебе жизнь покинуть, не время тебе умереть,

Трагической смертью погибнуть и мать здесь оставить скорбеть.

Могилу твою посещаю и горько я плачу над ней...»



Алтайские горы с вертолёта



Гора Белуха, с которой берёт начало река Катунь



Ущелье у подножия Белухи



Заснеженные склоны



Хозяин метеостанции



Ждём вертолёт



Сдуваєт...



Назад, в Сростки



«А я и не сочиняла – они сами...» – послышался из прошлого голос незнакомой женщины.

Воробышек, склонив головку, смотрел на меня с оградки.

Я покрошила для поминанья печенья и ушла прочь.

Дул осенний неласковый ветер. Кончалось тепло. И в душе моей что-то кончалось. Эти строчки стихов оказались уже не нужны.

Я поняла: они звали так долго, чтобы вызрело в жизни что-то новое. Чтобы родилась та завязь, которая свела меня с Григорьевыми. Чтобы не раз съездила я с ними на Алтай. Чтобы сняли они там два фильма.

И чтобы в году восемьдесят третьем, через десять лет после Шукшина, мы вместе прошли по его стопам на Белозерской земле.

В клубе опять оживали на экране «Праздники детства» Василия Макаровича. Пила свою горькую чашу мать его Мария Сергеевна. Плакали в зале люди.

А мы втроём на улице ждали окончания сеанса и смотрели на полную луну в вышине.

Белое озеро плескалось у наших ног, и в нём слегка качалась лунная дорожка.

За спиной, совсем рядом, чудилась гора Пикет, укрывшая от всех невзгод Сростки.

А в Москве угадывались под луной купола Новодевичьего монастыря. Где-то там, у его стен, уже много лет безмолвно покоился прах незабвенного Василия Макаровича.

Но сердце не желало с этим мириться! Вновь хотелось «растопырить разум, как руки» и «почувствовать хоть на миг, хоть кратко... чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было – жил человек...»

Жил Василий Макарович Шукшин...

1984 год



Режиссёры Григорьевы на пароме через реку Шексну



Паромная переправа у посёлка Вогнема, где снимался
эпизод с машинами



Когда-то на этом древнем валу в Белозерске
стоял и Василий Макарович



Дыхание былых времён...



Белозерский Дом крестьянина, в котором жила
съёмочная группа



Дом, в котором квартировали Василий Шукшин
с Лидией Федосеевой



Юрий и Ренита Григорьевы с Феклистой Евгеньевной
Молоковой, дом которой в «Калине красной» был домом
Байкаловых



Двор дома Феклисты Молоковой



Юрий Григорьев с пастухом из деревни Садовой Василием Фёдоровичем Голубевым, у которого коровы не захотели
«мырчать»



Обновлённая баня на месте той, которую снимали в
«Калине красной»



Знаменитые мостки на Мериновском озере
в деревне Садовой



Дорогие воспоминания



Эти дети родились уже по сле Шукшина...



«О чём думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку?»



Ренита Григорьева в Садовой возле осиротевшего дома
Офимы Быстровой



Остановка в деревне Тимонино, построенная киногруппой



На веранде клуба в Тимонине, где, по фильму,
была «Чайная»



Вид на веранду, где Шукшин-Егор с Федосеевой-Любой
сидели, «как два волоса на лысине»



Григорьевы с жителями деревни Никановская
Белозерского района



Во дворе дома Радостных в Никановской после премьеры
«Праздников детства»



ДУША БОЛИТ

3наю, каждую осень снова будет такое: только жёлтым окрасит по России леса, моё сердце лишиится на неделю покоя, на глаза навернётся без спросу слеза.

Снова вместе с природой круглый год завершая, подниму от калины багровеющий лист и, бесплодно загадку бытия разрешая, удивлюсь, что, как прежде, октябрь лучист.

И тогда в небесах солнце ясно сияло, чтобы выслушить влагу на лицах у тех, кто над свежей могилой уже понимали: неизбежно утрата изменит нас всех.

Я стояла, качаясь, в толпе онемелой, и хваталась за воздух, чтобы вдруг не упасть.

А в душе зарождалась напевом несмелым оборвавшейся песни воскресшая власть.

Не молчать, не терпеть, не рыдать, не сломиться, а держаться корней и стоять на своём! Ах, как мог бы сегодня Шукшин подивиться, что назло непогоде мы громче поём.

Отцветает и вновь багровеет калина. Горький след остаётся у всех на губах. И искать, не сыскать нам вовеки повинных. И писать, но не выразить правды в словах...



Глава ПЕРВАЯ. ЖАЛОСТЛИВЫЙ

Каждую осень перечитываю Шукшина. Каждую осень роюсь в своём архиве, где давние вырезки из газет и журналов. Как случилось, что из множества имён я выбрали и признала родным именно это имя, это лицо?

Мне двадцать. Только что закончился фильм «У озера». Зрители выходили из кинотеатра на Невском проспекте и обсуждали пуск целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. Кто-то недоумевал на Шукшина, согласившегося сыграть явного губителя природы.

— А как откажешься? — услышала я за спиной. — У актёров тоже семьи.

— У него, между прочим, и другой хлеб есть!

— Какой?

— Сам режиссёр! И писатель к тому же.

— Да ну?

Так случайно я узнала о Шукшине главное.

И жила с той минуты в болезненно-праздничном ожидании его фильмов, его публикаций.

А фильм «Странные люди» в крошечном кинотеатре на Лиговке прошёл при почти пустом зале.

И вокруг новых рассказов Василия Макаровича шушукались — не слишком ли часто он печатается?

Почему так реагировали на его голос? Чем были обделены те, кому он казался неуместным?

Тогда немногие сознавали, что мы дышим мёртвым воздухом. Шукшин был потоком свежести, окном в тот мир, где всё искренне и по-честному, где все ценности — на своих местах, а всё недостойное подлежит осуждению. Он верил, что именно такой должна быть настоящая жизнь, и пытался приблизить её.

Его легко и радостно отнесли тогда по разряду чудиков — вместе с его героями. Ведь никто нормально мыслящий не



шумел и не нарушал идиллии существования, не показывал, что ему больше всех надо. Над тобой не каплет, и молчи – приблизительно так рассуждали все.

Какой мерой измерить нравственный подвиг Шукшина, не убоявшегося оказаться изгоем, не усомнившегося в ощущении Правды! И каким кокетством, наверное, казались многим нечистым на руку его слова, набатно звучавшие сегодня:

«...как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как художник я не могу обманывать свой народ – показывать жизнь только счастливой, например... Я бы хотел помогать партии. Хочел бы показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю Родину – я не отчаиваюсь».

Теперь-то мы знаем: именно благодаря им, не отчаявшимся, мы и дожили до дней, осенённых надеждой. А уж о цене помолчим: ушедших не вернёшь, зато есть возможность подтолкнуть на правильный путь тех, кто пока блуждает в потёмках. И без шукшинского слова тут делать нечего. Вот почему всегда так остро во мне желание снова и снова перечитывать знакомые строки.

«Сашка вышел на улицу, остановился, закурил... Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить...»

Это «Обида». Зимой 1971-го я читала её матери вслух на страницах «Литературной России». Читала, ещё не осознавая, чем меня подкупают шукшинские рассказы.

«Что за странное желание угодить – продавцу, чиновнику, хамоватому бюрократу?! – напряжённо думала я вместе с Сашкой Ермолаевым. – Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завёз, не забросил на парашютах. Сами! Давайте разберёмся, в конце концов. Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают...»

– Ну и что? – сказала мама на мой восторженный взгляд.
– Это мы и так знаем, без него. Тут всё, как в жизни...



– А разве в литературе не должно быть, как в жизни? – спросила я, ещё не умев ответить несомненно.

Наверное, тогда и началась в моей душе работа, которой я обязана Василию Макаровичу.

Сколько раз потом, когда подступало к горлу отчаяние, я брала себя в руки с единственной мыслью: а разве ему, Шукшину, не было трудно? Разве ему не было больно? И разве сравнимы мои страдания с теми, что отпущены были ему? А раз так, значит, можно жить. Можно и нужно жить!

И я снова бралась за дело. И на себе испытывала то, что говорил Шукшин о воздействии правдивой литературы:

«Талантливая честная душа способна врачевать... способна вдохнуть силы для жизни и поступков».

Не знаю, был ли кто на свете ещё, могущий всё так же расставить по своим местам в моей душе; хочется верить. Но судьба послала именно Слово Шукшина.

И оказалось, что в груди титулованного режиссёра и писателя – случается же! – бьётся болящее и доверчивое, удивительно родное сердце: те же верования переняла я от отца своего и деда, и каждую строку шукшинского «Признания в любви» малой его алтайской родине я принимала как свою. Наверное, корни, те самые родовые крестьянские корни, к которым слегка запоздало я припала с такой благодарностью, именно они и помогли мне в молодости устоять, не усомниться в своём ощущении истинной жизни. Хотя тоже, выражаясь словами Шукшина, «сбивали», очень даже «сбивали» с пути.

Но жива была в деревне бабушка, и я, приезжая навестить, читала ей вечерами разные хорошие книги. «Прошли» мы с ней и чеховского «Ионыча», и «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского, и многое другое, что считала я близким и понятным ей. Через Василия Белова и Фёдора Абрамова добрались до Шукшина, которого открывала я не без опаски: ведь всё у него так же грустно, «как в жизни».



Слушала бабушка внимательно, вздыхала, вытирая слезившиеся глаза. В тишину нашего зажатого сугробами дома-ка сначала проник Серёга Духанин, чтобы ощупать купленные жене сапожки, хромовые, с мехом. Потом при нас обидели в магазине Сашку Ермолаева, и он метался, не зная, как справиться с болью...

Когда я умолкла, бабушка надолго спрятала лицо в подушку, а затем хрипло сказала:

— А этот вот — самый жалостливый! Нутром чует...

И не нужны мне стали никакие критические подсказки: это была самая короткая и самая точная рецензия на Шукшина.

Странным образом я ощущала в молодости огромное духовное родство между своими стариками и Василием Макаровичем. И выражалось оно, как теперь понимаю, в постоянных думах о смерти. Ведь они, эти думы, есть мучительная правда, которая не минует всякого живущего. Однако как-то так выходило, что большинство современных писателей, мне тогда известных, умудрялись обходиться без этой темы. Для них словно и не существовало смерти — ни для них самих, ни для их героев.

И вдруг — Шукшин с его рассказом «Дядя Ермолай»! Такой, казалось, большой и сильный, такой всезнающий, и вдруг — сомневающийся:

«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нём — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я её не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они её прожили. Или



не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я её понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Много позже, когда уже не будет Шукшина, а я окажусь в его Сростках, этот рассказ получит неожиданное продолжение.

На кладбище для участия в съёмках документального фильма о Шукшине привезут девяностолетнюю Марию Никитичну Емельянову, вдову дяди Ермолая. И пока операторы будут устраиваться с камерами возле его могилы, кто-то станет читать вслух шукшинский текст. Никогда прежде рассказа не слышавшая, старая женщина будет со светлой улыбкой кивать в такт писательским словам и шептать сама себе:

– Так и говорил, чистая правда... Врёте вы, варвары, я ж был там! Так и говорил.

В глазах её соберётся сильный и жгучий пучок света, устремлённый туда, сквозь время.

А потом она подойдёт к оградке у могилы мужа и тихо и просто скажет:

– Здравствуй, старик мой. Вот и я...

И мне вдруг станет неловко, что мы из ложной боязни не дочитали рассказ до конца: подумалось, будто Марии Никитичне недоступны будут писательские размышления о смерти. И в самом деле: «кто из нас прав, кто умнее?»

Не оставляли эти мысли Шукшина, и он пытался развить их дальше:

«Не так – не кто умнее, а – кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния и злости – не могу понять: а в чём Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю её с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».



И мне жалко всех, кто под холмиками. И я – как каждый в свой черёд – мучительно взываю: «*В чём Истина?*»

И читаю, читаю – с новой надеждой на ответ.

Это не сразу бросается в глаза, но, оказывается, почти все герои Шукшина думают о смерти, помнят о ней. «*– Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а, – размышляет под окном палаты больного Ефима Бедарева Кирька («Заревой дождь»). – А помирать всё одно надо. – Он полез в карман полушибка за кисетом. – И опять так же подумал: вот живём мы, живём – вроде так и надо. О смертиньке-то и не думаем. А она – раз! – тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня?*»

Впрочем, Кирька, торчащий под окном умирающего, так отвлечённо формулирует – «*о смертиньке-то и не думаем*» – как раз потому, что сам только-только спохватился.

«*– Охота понять: чего ты добивался в жизни? Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?*» – пытает он Бедарева. Ему-то, Ефиму, одной ногой стоящему в могиле, быть может, ведомо уже, что т а м, за т о й чертой? Вдруг, как утверждает дядя Гриша в рассказе «Гена Пройдисвет», мы и впрямь, словно киноаппараты:

«*живём, а на киноплёнку всё снимается, всё снимается... Как поступил, как подумал, где спроть совести пошёл – всё снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот – тело твоё – хоронят, а плёнку берут и проявляют: смотрят, как ты жил...*»?

Никто о т т у д а не возвращался. И потому не отнимешь у людей это право – гадать, что т а м.

«*Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц...*» – размышляет Шукшин в рассказе «Чужие».

«*– Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился – тебе неохота просто так уходить*», – ра-



достно развенчивает Гена Пройдисвет дядино богоискательство.

Не «смерть ли зачуюл» – пусть далеко где-то – «крепкий мужик» Шурыгин из одноимённого рассказа? И возжелал оставить по себе память – в виде разрушенного собора.

Ломает комедию перед тестем Тимофея Худяков из рассказа «Билетик на второй сеанс». Ползает на коленях, будто перед Николаем-Угодником, говорит гадости, а между ними припрашивает: родиться бы мне ишо разок! А уж он-то про свою жизнь всё понимает:

«Вот – жил, подошёл к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так – обглоданный мосол под крыльцом – лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, – тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут – как циркач на проволоке: пройти прошёл, а коленки трясутся».

Не оттого ли тянет старика Баева на «беседы при ясной луне» со спокойной и уважительной Марьей Селезнёвой, что внутри где-то уже поселилось у него сомнение в правильности «осмечённой» своей жизни?

А некто Кузовников Николай Григорьевич из рассказа «Выбираю деревню на жительство» – не потому ли ездит и ездит он на вокзал, что предчувствовать начинает: не то он предпочёл в жизни, не то... А повторенья не будет.

Об этом же скрытые муки «Хозяина бани и огорода», который выпячивает свою жадность, в его понимании «бережливость», в противовес тревожащим его иным жизненным принципам.

«Ах, как я бездарно прожил, Ваня! Я всю жизнь хотел быть сильным и помогать людям, но у меня не получилось – я



слаб, – плачется старичок из рассказа «Случай в ресторане». – Я даже не любил – боялся любить».

Тяжко думается о смерти тем шукшинским героям, которые спохватываются, когда уже прозвенел первый звоночек о т т у д а.

«– Хорошо, Филипп, – говорит Саня Неверов из рассказа «Залётный». – Мне пятьдесят два, двенадцать откинем – несознательные – сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше всё откладывал, всё как-то некогда было – торопился много знать, всё хотел громко заявить о себе... Теперь – стоп-машина! Дай на-гляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Всё! Больше этого понимать нельзя. Не надо».

Тянулись к этому больному Сане мужики. Выпить – выглядело со стороны. Но каждый, кто приходил посидеть возле его дома на брёвнышках, знал про себя и другого: тут что-то иное, чего нигде с ними не случается и что так нужно, оказывается, человеку.

«Думалось не думалось – хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг – в какую-то минуту – стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни – смерил нечто драгоценное, и всё понял. Ну и что? Ну и ладно! – так думалось».

Были у них, у товарищей Саниных, ещё силы и время. А Саня... Саня помирал и плакал.

«– Ещё полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помну... Кому же это надо, если я не хочу?.. Ведь это же надо принять!»

Но возможно ли это – «принять» смерть, согласиться с нею?

Вот раздумался среди ночи о «косой» Матвей Рязанцев из рассказа «Думы»:

«Удивительно: всё будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять:



как же тут будет всё так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить – оно всегда встаёт и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... А охота же узнать, как они тут будут... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?»

«А вдруг да потом, в последний момент, как заорёшь, что вовсе не так жил, не то делал?» – прикидывает не понятный людям «Алёша Бесконвойный», он же Костя Валиков. Отстоял он за собой право раз в неделю, в субботу, в бане, глубоко и не торопясь размышлять о жизни:

«Что в ней за тайна, надо её жалеть, например, или можно помирать спокойно – ничего тут такого особенного не осталось?»

А однажды подумал вдруг: «а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алёша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтобы увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерециться – подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алёша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой».

И всё-таки...

И всё-таки, «да здравствует смерть», как провозглашал в свои светлые минуты «залётный» Саня Неверов. Потому что «если мы не в состоянии постичь её, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь – прекрасна».

Помните Серёгу Духанина из рассказа «Сапожки»? Привёз он жене обнову, даром что не по размеру. А всё равно хорошо как-то на душе сделалось, мысли какие-то неожиданные пришли – вроде и невесёлые, а...

«Вот так живёшь – сорок пять лет уже – всё думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идёт... И так и подойдёшь к той ямке, в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать?»



Нашла философская минутка и на Романа Звягина из рассказа «Забусковал»:

«Половину жизни отшагал – и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь – и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался – так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман даже сел на диване. И очень даже просто – ляжешь и вытянешь ноги».

И мысль эта вдруг заставила посмотреть на всё иными глазами. Он вслушался в «Русь-тройку» из «Мёртвых душ», которую учил сын, и чего-то забеспокоился: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова? Русь-тройка, а в тройке – шулер».

Осознавший свою невечность, герой Шукшина становится причастным к жизни вообще и к судьбам других. «Ну чего мы шуршим, как пауки в банке?» – спросил бы Егор Прокудин.

Помните, как подействовал на старика Наума Евстигнея-ча Юркин рассказ об умиравшем Павлове?

Старика долго не было, а когда появился из сеней, он «нёс в руках шмат сала в ладонь величиной».

– *На, поешь... а то загнёсся загодя со своими академиками, пока их изучишь всех*.

Ночь просидевший над вечным двигателем, о разном успел подумать Моня Квасов из рассказа «Упорный».

«Вот так вот пройдёт человек по земле – без крика, без возгласов – поглядит на всё тут – и уйдёт». Не в том дело, что на миг «почудилось Моне некое собственное величие», – моменты эти необходимы каждому для осознания своей нужности на земле. То важно, что от мыслей таких «желанная, дорогая сделалась жизнь». И инженер, оказалось, вовсе не злой человек, а просто усталый, замотанный. Да и все вокруг...

«Люди, милые люди... Здравствуйте!» – такими словами встречает рассвет Моня. «Покой, мучительный покой объял душу Мони» – вот что случилось.



Покойно стало... Покойник... Один смысл в этих словах. Но возможно ли на этом свете обрести тот покой, ту благость, какие проступают вдруг на лицах ушедших?

Шарахается по жизни, как по загону, Гена Пройдисвет, ранится и злится. И жалуется дяде:

«Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы впереди всех спокойно шёл, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать».

Да и знатъ ли надо? Вон Максим Яриков из рассказа «Верую!» и знает, и понимает тот смысл жизни, который в детях, например, заключён.

«Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идёт, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих – свои такие же будут. А у тех – свои... И всё? А зачем?»

Нет, иное тут что-то надо, нежели просто знание. Отчего Алёша Бесконвойный про тех же детей совсем иначе думает?

«Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он всё изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости... Вот уж, правда что, стебелёк малый: давай цепляйся теперь изо всех силёнок, карабкайся».

А мысли Ярикова скорее похожи на злость и бессилие Сани Неверова, который на последнем изыхании в лицо смерти произносит:

– Дура!

Быть может, «принять» смерть – это та же мудрость, как и принять жизнь – такою, какая она есть?

Когда наступала для Алёши баня, то совсем отпускало его вредное напряжение, и он чётко осознавал:



«...мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность – жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алёша стал недосыгаем для неё, для её суетни и злости, он стал большой и снисходительный».

В таком состоянии постигаешь главное: то, что люди-то – они все одинаковые перед лицом смерти, их жалеть нужно и прощать, как детей своих прощаешь; именно за эту их способность причинять зло и приносить горе – и прощать. И жить дальше, не теряя веры в Жизнь.

Жизнь – это и есть Бог, убеждает смятенного Максима Ярикова поп. Но это «суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло, вместе... Ты уже здесь, на этом свете, получившь сполна и рай, и ад».

«Дело в том, – поддерживает его Алёша, – что этот праздник на земле – это вообще не праздник, не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно всё принимать».

А потому, «живи, сын мой, плачь и приплясывай», заключает поп.

А с косогора, что против Талицкой церкви, Сёмка Рысь из рассказа «Мастер» добавляет весомо:

«Умеешь радоваться – радуйся, умеешь радовать – радуй».

И про себя уже продолжает дорогие мысли:

«О чём думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать?»

«Всё хотел громко заявить о себе», – дальним эхом отозвались слова раскаяния Сани Неверова.

«Но кто хочет себя показать, – продолжал Сёмка, – тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь – там заметят. Этого заботило что-то другое – красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо».



«Прожил, как песню спел, а спел плохо», – опять вознадеялся на «второй сеанс» Тимофей Худяков.

«И ушёл. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа, – понимает наконец Сёмка Рысь. – Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе – туда, в твою чёрную жуткую тьму небытия...»

Что сказать Вам туда, Василий Макарович, милый, дорогой человек?.. Кто бы знал и сумел объяснить, что за сила исходит от белых страниц с напечатанным текстом? Никуда не девались ни раздумья, ни горечь – словно рядом Вы, и до нас о т т у д а лишь рукой подать. И так славно, так не страшно шагнуть к Вам т у д а об руку со стариками, всё принявшими в этой жизни.

«Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровёнке». Звали его Анисим Квасов; по другим дорогам он, считай, и не хаживал – а всё о жизни знал. Чуя это, жаловался ему на душевную боль городской старик, забредший на покос.

«– Вон и прожили мы свою жизнь... Жалко... не нажился, не устал. Не готов, так сказать.

– Хэх!.. Да разве ж когда наживёсся? Кому охота в её, матушку, ложиться?

– Жалко покоя вот этого... суетился много. Но место надо уступать. А?

– Надо. Хэх!.. Надо.

– А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб забыли про тебя...

– А ты зараньше не думай про её – не будешь страшиться. А придёт – ну придёт...»

«Стариковское дело – спокойно думать о смерти», – прислушивался Шукшин к героям своих «Земляков». Ведь всякий старик, и тот, что в рассказе «В профиль и анфас», – «такой же усталый, тусклый, как этот тёплый день к ве-



черу. *А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал её под ногами. А теперь – вечер, спокойный, с дымками по селу.*

Что же страшного, что закатится солнышко, коль назавтра, «светло и горласто», придёт день новый?

«Стариковское дело – спокойно думать о смерти». Дело молодых – взглядываться в стариков, постигая непостижимое. Потому так часто в рассказах Шукшина старики и «уступают место».

«И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят тёплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих».

Этот звон надолго остаётся в сердце после рассказа «Как помирал старик».

«Зимнее дело – хлопотно помирать-то», – подумал он. Но – «чуял он её». И потому спокойно и обстоятельно стал давать наказы старухе, которую оставлял. Ведь смерть есть смерть, а живым – жить.

Наверное, мудрость и есть примирение с неизбежностью собственной смерти.

И если считать её привилегией старости, то Шукшин и в сорок пять испытал человеческий век до конца. Не случайно же, когда его не стало, обнаружилось, что у него было сердце восьмидесятилетнего человека...

Весь путь его становления, взросления и прозрения – перед нами. Шукшин открыт и доверчив к читателю с первых шагов. И когда в «Воскресной тоске» он впрямую спрашивает себя: «*Почему хочется писать? Почему так сильно – до боли и беспокойства – хочется писать?*» – это не рисовка, не наивность или неопытность, над которыми бездумно посмеялась тогда критика. Это – главный вопрос жизни, вопрос о праве и необходимости прожить её так, а не иначе.

«*А вдруг да потом, в последний момент, как заорёшь, что вовсе не так жил, не то делал?*»

Но разве не криком звучит уже не раз упомянутое здесь бесплодное раздумье писателя над могилой дяди Ермолая?



— «...я не знаю, кто из нас прав, кто умнее?.. а в чём Истина-то?»

Я не смею ответить на этот вопрос, коли сам Шукшин оказался бессильным.

Но и сила его как художника — в этом бессилии. Он говорил с нами, как равный с равными. Он был, как и мы, сомневающийся, а не премудрый. Встряхнувший за плечо, протянувший руку — вот Шукшин.

Он и в последний свой год взмолился в отчаянии: «Что же это такое было — жил человек...»

Лет двенадцать было Шукшину, когда у соседа старика Нечаева умерла старуха. («Горе») И узнал он тогда, «в ту светлую хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку.

Нечай заговорил шёпотом, я половину не расслышал.

— Грешным делом, хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал... Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный — и все думают, что помер человек, а он не помер, а сонный...»

«Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, — вспоминал Шукшин, — ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир».

А в 1961 году весь мир заслонит тридцатидвухлетнему Василию Макаровичу смерть зятя — Зиновьева Саши, мужа Натальи Макаровны. Лишь однажды в прозе, в рассказе «Хахаль», он упомянет об этом событии.

«— Да у него голова что-то болела... Болит и болит голова, ну, а к врачу, знаете, всё некогда, да, может, обойдётся... А тут — дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Приходил, говорит, к нему, а он мне и говорит: «Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь». Рад был, что в больницу попал. Весёлый лежал... Потом помер.



А жили они за Новосибирском, далеко. Ну что: надо ехать за ним...Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутьца. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда – это уже дня через четыре: реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали – ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевёл по доскам, а сам вернулся, нанял подводу и поехал вверх по реке – там, сказали, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место – вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами – в стороны от саней. Лёд трещит, гнётся, мы бежим и со стороны орём на коня...А он сам уж – дай бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...»

Этих детей – близнецов Надю и Серёжу – всю жизнь потом Василий Макарович любил, как собственных. А сестре в те тяжкие дни написал письмо:

«Натали-Наташенька!.. Как глубоко содрогнулось моё сердце твоим горем, как неповторимо я почуял дыхание смерти. Я глубоко и сразу понял вдруг, что смерть – это дело всех нас. То ли жизнь глупа, то ли мы ещё не совсем поняли её истинного смысла, – горько...

Знаешь, в Древней Спарте был такой закон: на скорбь по умершим отводили что-то около сорока дней. Сорок дней человек имел право горевать – плакать, рвать на себе волосы. Но в сорок первый день он не имел права горевать.

Живые должны жить. Ведь это правда: мёртвых на земле больше, чем живых. И если нам подчиниться закону мёртвых, то надо складывать руки и спокойно уходить из жизни. Но живые диктуют нам свой закон – ж и в и!

...Сколько я передумал за всё это время. А сейчас сел писать рассказы – вижу – не то. Не могу уж радоваться... скорбное просится с языка, ну, а у нас скорбное не в почёте...»



Вот так в самом начале творческого пути Шукшин отказал себе в праве балагурить в литературе. Всю жизнь потом «скорбное просилось» с его языка, став синонимом правды, искренности.

Потому и смерть была такой же частой гостьей в его книгах, какой случается она в жизни.

В последних своих рассказах он уже не прячется в обличье своего героя – он выходит на встречу с ней один на один.

«*Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зйти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так – тепло и покойно. Как-то, наверное, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечёт на кладбище вполне определённое желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И ещё: как бы там ни думал, а всё – как по краю обрыва идёшь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну»* («На кладбище»).

Иногда Шукшину кажется, что в такой час, когда город тяжело спит, где-нибудь в больничной курилке «можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружила, закричала от боли и радости эта огромная машина – Жизнь. Но только – кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь чёрт знает о чём. О том, что вот – ладили этот паркет рабочие, а о чём они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит... Спокойно, верно, обдуманно:

– А денёчки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

– Да. Не идут, а бегут, мать их!..



Но не я первый додумался, что они так вот – неповторимо, безоглядно, спокойно – идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами – верно и вовремя сказанными – поймать за руку Время. Вот же чёрт!» («Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту»).

Шукшину всё думалось, что вот ему-то это Время поймать за руку как раз и не удаётся.

Это потом уж – вслед ему – скажется:

Шолоховым – «Не пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного»;

Астафьевым – «Значение художника Шукшина нами ещё до конца не осознано»;

Распутиным – «Шукшин исчерпывающе отразил состояние современного ему мира. Чтобы уйти за шукшинский предел, нам надо стать немного другими, на поколение старше, мудрее и сильнее».

А пока жил человек, жил Василий Макарович Шукшин, он – как всякий из нас – пытался «почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, – чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было – жил человек... Допустим, нужно, чтобы мы жили, но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар – вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем всё?» Вон уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем всё, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперёд, сколько отмерено. Похоже, умирать-то – не страшно» («Жил человек»).

С

орок пять было отмерено Шукшину.

Страшно ли умирать?

Оставаться страшно: силою слов, бессильных в этом, возвращать его угасший облик, из бесплотной памяти лепить



плоть. Нам, живым и телесным, мало вольной души. Так прекрасен он был на этом свете! Вот же свидетельства.

Глаза? «Возглавляющие» облик. То глянут зорко и угрюмо, то – «прорубно». Взгляд – «задевающий, как оклик, как прикосновение».

Походка – раскачивающаяся.

«Какое удивительное сочетание скифской дикой силы с незащищённостью ребёнка».

«Голова бунтаря – и тонкая щиколотка усталой ноги, которая болтается в неуклюжем ботинке».

Всё это глупости? Но – «даже самый необыкновенный человек интересен именно тем, что он – обыкновенен», – уверял Шукшин.

Так вот. С малолетства любил он лежать на спине: ничто, кроме галок и ветвей, неба не закрывает.

Над своими рассказами и пьесами, когда слышал их, смеялся и плакал, как над чужими.

Про «творческую лабораторию» сказал единственное:

«В новом костюме или даже в гляженых брюках ничего путного написать не смогу. А если ещё и в галстуке, то и строки не выжму... Хорошо, когда просторно, тепло и не боязно мять. (Старые штаны, валенки, чистая рубаха). И полно сигарет».

Когда пришлось – ходил по Парижу с прогоревшим воротником. Ничего, никто плаща с него не снял!

«С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так».

Когда из самолёта смотрел на «нежные горы» облаков, испытывал «глупейшее желание – упасть в них, как в перину». Если стюардесса предлагала обед, не отказывался, даже будучи сытым. «Наверное, это у меня крестьянское осталось: «Пусть лучше пузо треснет, чем добру пропадать».

Когда дочкам делали уколы, уходил на лестницу.

Писал им, маленьким: «Девчонки, вырастайте скорее, и я вам покажу свою родину. Тогда вы поймёте, что такая жизнь».



В одной из записных книжек шесть раз, шестью разными цветами вывел: «Хорошо то, что хорошо кончается»...

«Не знаю, что такое там со мной случилось, – писал он о происшествии в больнице, – но я вдруг почувствовал, что – всё, конец. Какой «конец», чему «конец» – не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчётливое» («Кляузаз»).

Потом напишут, справедливо, наверное:

«...свести всё к обидам, чиновничьей ограниченности, мелким уколам завистников и недругов – значило бы мерить великое недостойной его меркой. Личность и талант подобной величины уже в силу самого масштаба своего несут в себе такую, высшего порядка, драму, на которую внешние обстоятельства, как неблагоприятные, так и благоприятные, способны повлиять лишь в относительной степени».

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Ольга Фокина одной из первых высказалась открыто:

«Ему – ничто, припавшему
К теплу земли.
Но что же мы, но как же мы –
Не сберегли?
Свидетели и зрители, –
Нас сотни сот! –
Не думали, не видели,
На что идёт
Взваливший наши тяжести
На свой хребет...»

«...предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчётливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал – не её приближение».

Как знать... И чуял ли он её прежде?

Начало шестидесятых. «Меня, кажется, эти «шальные ветерки» в гроб загонят раньше времени» («Воскресная тоска»).

Лето 1974-го. Надо уезжать на съёмки фильма «Они сражались за Родину». Георгий Бурков пришёл к назначенному месту, а Шукшин – курит и плачет.

«Ты чего? – спрашиваю, – стряслось что?» – «Да так, девок жалко, боюсь за них». – «А что с ними случится?» – «Не знаю. Пришли вот про-



вожать. Стоят, как два штыка, уходить не хотят. Попрощались уже, я их гоню, а они стоят, не уходят».

Провожая гостей из своего дома, Михаил Шолохов «оглядел всех, потом задержался каким-то грустно-тёплым взглядом на Шукшине и вдруг сказал:

— Вы только не умирайте, ребята».

За две недели до смерти, по воспоминаниям Глеба Панфилова:

«Когда он вошёл в павильон, у меня было физическое ощущение, что он не идёт, а парит, почти не касаясь пола. Потом я узнал, что примерно то же самое почувствовали и все остальные — такой он был высохший, худой. Не человек, а его тень. Джинсы на нём болтались, вязаная кофточка, прикрытая модным кожаным пиджаком, висела как на вешалке, а на ногах — босоножки в пластмассовых ремешках. Глаза красные с неестественным блеском — верный признак бессонных ночей; за сутки он выпивал банку растворимого кофе».

Юрий Никулин вспоминал:

«За день до смерти Василий Макарович сидел в гримёрной, ожидал, когда мастер-гримёр начнёт работать. Он взял булавку, опустил её в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет «Шипка». Сидевший рядом Бурков спросил:

— Чего ты рисуешь?

— Да вот видишь, — ответил Шукшин, показывая, — вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны...»

Из письма сестре, 1961 год:

«Признаюсь тебе: я завидовал Саше. Я хочу, чтобы меня тоже похоронили на нашей горе и чтоб вид оттуда открывался широкий и красивый... Я хочу, чтобы меня похоронили так же по-русски, с отпеваниями, с причтованиями — и чтоб была жива моя мама и ты с ребятишками...»

Так и было последнее: стояли над гробом мать и сестра с ребятишками.

И тысячи и тысячи людей со всей страны провожали процессию до Новодевичьего.

— Мы грешным делом хотели увезти его домой, в Сростки. Но поняли, что это невозможно...

Красным пламенем калины полыхала вся столица, и во след ему глядели лица, лица, лица, лица...



«Мы все где-то ищем спасения, – писал Василий Макарович сестре в свои тридцать два. – Твоё спасение в детях. Мое – в славе. Я её, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь её, если не умру раньше».

Он повстречался с нею в крайний миг. Слава – это не личное, это – народное. Слава – когда плачут миллионы, потому что ушёл один.

И от скорби в сердцах вызревает величие дня: от души народной до души художника так близко! Великое противостояние.

А в Литературном институте в день похорон шли обычные занятия.

И простые люди – умело ли, плохо ли – сами слагали стихи и оставляли записки в гроздьях калины на могиле.

Глава ВТОРАЯ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

Y

мер он на рассвете, и жуткую весть разнесли людям птицы и ветер...

У меня в тот миг распахнулась форточка.

Это после уже сопоставилось, и примета сошлась.

А тогда, утром 2 октября, я просто закрыла окно и посмотрела на улицу.

Из гостиницы видна была Белозерская земля. Звала она почему-то весь сентябрь, и откликнулась я на её зов, приехала.

Так же серо, бескрайне, как год назад, во время съёмок «Калины красной», покоилось озеро. Так же тихо, неуверенно вставал рассвет.

Через сутки я выроню телефонную трубку... и полдня буду трястись в грязном фургоне, на посыльочных ящиках, в обнимку с бездомной собакой... потом торопить, торопить поезд до столицы... и всё воскресенье метаться по Подмосковью в поисках калины...



Нам бы знать в тот безжалостный миг, что зерно он, упавшее в почву, и что смерть его – это рожденье в наших душах шукшинских начал!..

Но тогда, ослеплённые горем, мы не зрели того пробужденья, и стонали сердца, и хотели мы рассудком уход воспринять...

А потом заплакали скрипки в Доме кино – и исчезло Время, и не нужным стало ловить его за руку. А Пространство, полное осиротевших людей, держало и держало меня, когда отказали ноги...

В обезумевшем потоке машин остановилось – посланное мне небом – единственное пустое такси.

И цепочка неприступной милиции вдруг разняла передо мной руки – чтобы пропустить на кладбище...

Вот почему, лишь только жёлтым вымажет леса, снова и снова звучит в душе неизбывная печаль об утрате.

И вспоминаются друзья, обретённые на съёмках, с которыми мы встретились вновь уже у могилы и делили потом горький стол.

И вспоминается колодезный сруб в деревушке Садовой, на котором сидел Василий Макарович в перерыве между съёмками и тревожно мял свои узловатые пальцы.

Многое вспоминается, чему до сих пор нет слов и названий, но что снова и снова толкает меня перечитывать Шукшина и что не даёт мне возможности молчать.

«Зря всё-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это тоже – от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать – да. Только ведь уважение – это дело на�ивное, приходит с культурой. Жалость – это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать – самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное – вся состоит из жалости... Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю.



Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю – и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т.п. Но ещё – в огромной мере – жалко» («Боря»).

Сегодня я особенно отчётливо понимаю, что первом Шукшина двигала огромная человеческая жалость ко вся кому, кто – повинно или невинно – страдал из-за несовершенств нашей жизни, так долго не признаваемых. Это дело второе, сознавал ли он сам, сколь важный срез нашей действительности производит и как была близка к объективной его оценка действительности. Говоря его же словами, «*не всегда надо понимать до конца то, о чём пишешь – так легче остаться непредвзятым*».

Вот с этой-то непредвзятостью ему и удалось интуитивно оказаться выше многих коллег во взгляде на современность. И совсем не удивительно, что критики никак не могли найти верное определение тому, что нёс с собою этот писатель. Стало общим местом повторять вслед за Шукшиным его жгучий вопрос: что же с нами происходит?

Василий Макарович в тоске отчаяния не разводил беспомощно руками, а приникал душой к народу, который, по его утверждению, «*всегда знает Правду*». И не случайно в день похорон столькие ринулись к стенам Новодевичьего с ветками калины. «*Откуда у писателя запас добрых сил? От людей же... И людям же отдаётся*», – подытожил бы Шукшин.

Впрочем, многим удавалось довольно лихо трактовать впереди времени шедшую прозу Шукшина. Одни рассматривали его творчество в контексте научно-технической революции, которая стронула с места деревню и привела выходцев из неё в город. Каково им там, что они потеряли и обрели, равноцenna ли эта замена – вот тот круг вопросов, которым всё, на их взгляд, и ограничивалось.

Другие видели в писателе создателя образов чудаков, или «чудиков», людей редких, а потому для нашей жизни не типичных. Разрабатывая этот пласт жизни, он никому на своей обочине не мешает – пусть почудит.



Трети пытались найти синтез первого и второго и выдать населяемый Шукшиным мир за особую реальность, именуемую «шукшинская жизнь». Там, где творчество писателя не укладывалось в придуманную схему, пристраивали конструкцию-довесок либо просто игнорировали часть сочинений.

Попробуем разобраться в том, что писалось вслед за уходом Шукшина.

Но сначала – по поводу деревни и выходцев из неё. Трудно принять указанную выше трактовку, когда знаешь мнение по этому поводу самого Василия Макаровича.

«Важнее всего, наверное, тот конкретный человек, который нам на сегодняшний отрезок времени интересен. А городской он или сельский – нет этого вопроса. И никогда по-настоящему, наверное, в русском реалистическом искусстве не было такого... не отыскивали здесь знак вражды или признак недовольства друг другом».

Если Шукшин и взглядывался в деревню, то совсем с иной целью: найти у тамошних жителей ценности общечеловеческие, какие должны быть всюду, и в городе тоже. Он хорошо помнил образ жизни своих земляков и в откровенном своём «Признании в любви», напечатанном впервые ещё при жизни, во втором номере журнала «Смена за 1974 год, вспоминал:

«...нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда – крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла – с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но – учили... Никак не могу внушить себе, что это всё – глупо, некультурно, а ду-



маю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, – очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали всё, чем жив и крепок человек и чем он – нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие есть праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чём там не заблуждались, большие того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, ещё в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребёнка – она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость – всё было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть, или себя, например, обмануть – нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось – правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон – соблюдение правды – вселяет в человека уверенность в ценности его пребывания здесь...»

Шукшин с детства впитал в себя этот образ жизни. И именно им поверял потом всё, что встречалось на его пути.

Впрочем, были и у него, у молодого, минуты сомнений. Давно когда-то, в юности флотской, он стыдился, что родом из деревни. «Но потом – и дальше, в жизни – заметил: чем открытие человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нём до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали...»

Почему же, откуда взялось это опасение – «чтоб не трогали»? Разве не естественное желание – поделиться с другими тем, что дорого тебе?.. Да, когда бы над этим дорогим не подсмеивались, не ухмылялись презрительно: эх, ты, деревня!

Да, был у горожан повод для высокомерия: сельская Россия со всем тем, что воспевал Василий Макарович, вы-



рождалась. Точнее, её подводили к вырождению. И мог ли Шукшин не биться за то, что было ориентиром в жизни для многих поколений?

«У меня было время, – говорил он, – и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринуждённо, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: «Ну, вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и непринуждённости: пожалуй, я чувствовал, что это не непринуждённость, а демонстрация непринуждённости...»

Вспомним хотя бы рассказы «Медик Володя», «Хмырь» или «Привет Сивому!». Разве они не свидетельство того, как ничтожен и мелочен человек, променявший своё естество на модные ужимки и прыжки? Герои этих рассказов убеждены, что истинная их суть не несёт в себе ни очарования, ни красоты, ни права на симпатии других.

Так и Шукшину в своё время думалось: в связи с тем, что «начитанность моя была относительная, и знания мои были относительные... должны мне отказывать в этом деле – в праве на искусство». Это позднее он запишет: «Есть правда – есть литература», и признает ремесло, то есть владение формой, делом второстепенным. Но героям-то его, с их стремлением быть «как все», ещё идти и идти до понимания своей человеческой ценности!

«Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду», – недоумевал Шукшин и снова и снова до предела обнажал свою душу.

В неотступных мыслях о деревне, тоже не без недоумения, он обнаруживает нечто, отличавшее его от других писателей:

«Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»), – а таких много, – невольно несут в



душе некую обездоленность, чувство вины и грусти. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я отчего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то лёгкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я уехал, а теперь, видите ли, приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нету? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это...»

И я не могу. Держу в руках старый потёртый журнал – среди завлекательных зелёных видов Алтая затерялись обжигающие сердце слова. До чего же нелепая вёрстка! Точно тело, растерзанное на куски; точно силился кто-то утишить этот крик.

Однако его услышали! Потому что открытие писателя такой искренности для многих было сродни обретению себя. И пошли отклики на эту публикацию в «Смене».

«Дорогой Вы наш Василий Макарович Шукшин! Прочитала я статью Вашу... и решила... успокоить. Высказать слова благодарности, горячего расположения к Вам... Все Ваши повести и фильмы – это большой разговор о Родине в личном плане. Они заставляют посмотреть широко открытыми глазами на нашу Русь изначальную. Есть в нашей жизни люди, как говорится, соль земли, для которых правда – главное», – писала Г. Коржавина из Качканара.

«Я – тоже деревенский парень, – отзывался С. Быков из Челябинска. – Меня тоже не покидает чувство вины перед моими земляками, тем более что, будучи в отпусках, вижу, как не хватает в моём селе специалистов. Я же, имея два диплома, живу в городе, когда, может быть, был бы нужнее там».

Напомним, что происходило это в те годы, когда многие российские деревни объявили неперспективными, когда болеть за них в искусстве стало немодным. Потому послушные



критики и не приняли фильм «Печки-лавочки» с его почти открытой публицистичностью. Пошли у них на поводу и некоторые земляки режиссёра, в письмах обвинявшие его в отрыве от жизни.

Статья «Признание в любви» («Слово о «малой родине») это попытка Василия Макаровича объяснить, что любит он свою отчизну любовью не слепой, не потребительской, а требовательной, какою она и должна быть. Но была исповедь напечатана и получила поддержку простых зрителей много позднее, когда уже завершились тяжёлые съёмки «Калины красной». А гневные письма земляков лежали в нагрудном кармане и жгли Шукшину душу в те дни, когда работа над фильмом только начиналась.

У слабого волей дело валилось бы из рук. Шукшин же только двигал желваками и хмурился. И ещё пальцы его выдавали – они вздрагивали и вздрагивали, и ничего не мог он с этим поделать...

Если есть земля благословенная – это Белозерская земля.

И минуты счастья сокровенные в памяти навек оставлю я.

Белый май колышется над городом, и плывёт черёмуховый дух. Из окна узорчатой гостиницы я гляжу на мир. И режут слух за моей спиной в огромной комнате, где на каждой койке – телеса, редкостным событием взъяренных, ссорящихся женщин голоса:

– До чего же эти все киношники шумный и задёрганный народ! Чашки и подтяжки – всё разбросано, грязь кругом...

– У вас наоборот?

– Я, про между прочим, из провинции и совсем не мечу в эталон! А у них актёр лежит с ангиною, и вовсю орёт магнитофон! Я бы прибралась, умыла бедного и дала лекарства – не табак!



— Ох-хо-хо, шокировали женщину... Из Москвы, культуры... как же так?!

А один из группы бегал горестно и визгливо прокричал затем:

— Я привык к работам панорамным, а Шукшин — художник малых тем! Я его, конечно, понимаю. А ему меня уж где понять?! Я себе картину поменяю... А ему себя не поменять!

Да, не поменять. Каким из детства вышел в жизнь — таким дошёл до нас... Может, мало довелось мне видеть, но я горше не встречала глаз. И светлей, пожалуй, не встречала.

Только лучше в прозе, всё с начала.

Телефонный звонок ко мне в редакцию «Вологодского комсомольца».

— Есть ли вокруг Белозерска...

Оказывается, когда-то там, на Белом озере, привиделись Шукшину плывущие разинские струги. А «Разин» всё откладывался и откладывался.

— Есть ли вокруг Белозерска красивые деревни?

— Господи, да там все места прекрасны, Василий Макарович! Я только что оттуда из командировки.

— И всё-таки, конкретно?

— Конкретно?.. Тогда Взвоз, Орлово...

— Ещё?

— А ещё, немножко в другой стороне, Садовая, например. Она вся на горушке, а внизу, как в ладошке, небольшое озеро... Спасибо? Пожалуйста! Только за что?

Конечно, я тут не причём. И всё-таки радостно, что в кадрах «Калины красной» — та самая Орловская ферма, возле которой я сидела, поджиная свою первую газетную героиню, и на первом плане медленно бредут те самые коровы, которых мы вместе с ней доили когда-то...



В июне 1973года мы сидели с Шукшиным за одним столом в ресторанчике Белозерска, намереваясь совместить ужин с традиционным интервью о съёмках. Я достала блокнот и подготовилась писать.

– Я не знаю, Нина, что и говорить тебе, правда.
– А я сейчас сообразжу сама...
– Ну, сообрази, сообрази!
– О Толе, например, Заболоцком расскажите. Почему вы всё время с ним работаете?

– Ну, не всё время, допустим, всего вторую картину... Что о нём сказать? Интересно работает. Земляки мы с ним, из Сибири он, сосед... Что ещё?

– Ну, о взаимопонимании.
– Есть оно, я думаю. Есть... Ну, не знаю я, Нинон, что говорить! Ты уж сама там что-нибудь сочини. Понимаю я, что у тебя тоже работа, надо это. Только ты уж сама! Знаешь, где все эти вопросы о целях, идеях, замыслах? В-во!

Он резанул себя рукой по горлу.
Официантка не шла. Василий Макарович посмотрел на часы, потом на растерянную меня и снова опрокинулся взглядом внутрь.

– Хочется ведь что? Человека показать. Огромного, русского, настоящего. Чтобы каждая дрянь увидела, какая она, в общем-то, дрянь, по сравнению даже с этим вот, с вором... Чтобы всколыхнуть всё мещанство, чтобы показать ему настоящую силу, цельность, честность. Вот – такой вот он, человек настоящий! У него и судьба такая тяжёлая, что он честен, открыт и говорит то, что есть. Не как другие. И хотят сказать, да подумают сначала, что им на это скажут. Сидят в президиумах, наклонив пустые головы, и мнят о себе невесть что! А дела-то плохо идут на Руси! Плохо, чего скрывать... Ты-то как на жизнь смотришь? Как работаетя?

– Как... Стыдно сказать, а уже подразочаровалась. Чувствую, что придётся немножко и халтурить. Хочется о человеке



рассказать, а тебе говорят – давай про уборку, про передовика обязательство!

Василий Макарович с лютым вниманием слушал и подхватил тут же:

– Во-во! Им всё передовиков подавай! А что передовики? Сегодня одни, завтра другие, и не это важно, что они – в деле передовые, может, и дело-то их никому не нужное… Человека надо показывать, душу его, потому что он – главное. Всё проходит, а остаётся то, что вечное. Меня вот не волнует, например, что по Луне там кто-то ходит. Мне сосед мой намного интересней. И о нём надо писать, раз уж мы люди… пока мы есть на земле… Человек он во все времена человек, и это всегда будет волновать…

Василий Макарович обернулся в поисках исчезнувшей официантки, но никого не обнаружил. Затем прищурился и, словно ища поддержки, уже другим, доверительным тоном произнёс, глядя куда-то сквозь прозрачные оконные шторы:

– Неважное, в общем, у меня настроение. Хочется верить, что нужно кому-то то, что делаешь. А тут… Веришь, конечно. И всё равно. Тяжко!.. Вот обругали на Алтае мой фильм.

Он достал из внутреннего кармана конверт, стал разворачивать письмо и газету, словно я могла не поверить его пересказу.

– Отстал, говорят, я от жизни деревни, не так уже всё у меня на родине. И люди совсем не такие, как Растворгев. Очень, говорят, глуповат и однобоко решён: пристрастие к выпивке, ревность да болезненное самолюбие. И вообще, сюжет не завершён…

Я молчала, боясь с чем-то согласиться или не согласиться и помешать этому внезапному откровению, на которое в тот вечер совсем не рассчитывала. О блокноте нечего было и думать, и я записывала каждое слово в память, как на магнитофон.



А Шукшин, сам себе отвечая, продолжал:

– Лепет какой-то! Уж молчали бы, если не чувствуют, не понимают, что этот человек выше их во многом!

И снова он с исповедального тона перешёл к речи страстной, точно не я, ученически ему внимавшая, сидела напротив, а его идейные противники, не видящие вещей явных.

– Ох, как много на свете мещанства! Океан мещанства, пошлости, сытости, самодовольства! Да всякий простой работяга-шофёр лучше многих высоких чинов, которые только и дрожат за свой кусок. Ведь нормальный человек, было бы здоровье, прокормить себя всегда сможет. А им, вознёсшимся, каждому хочется, пока можно, урвать кусок посланце да пожирней. В том и беда. А настоящих русских людей мало осталось. Но они есть! Вот их-то и хочется показать...

Возвратившись мыслями туда, где мы находились, – на Вологодчину, в Белозерск, на съёмки «Калины красной», – Василий Макарович добавил как-то неожиданно спокойно, почти равнодушно:

– Вот и теперь, наверно, будут мешать, станут держать фильм. Опять герой не передовик!.. Но я буду умнее, не стану нервничать. Пусть как будет: пустят – не пустят... Главное, что года на три я себя обеспечил и можно будет спокойно писать.

– Но ведь не получится не нервничать..., – несмело вставила я.

– Попробую! А то измотался. И злой стал, как собака, не тронь меня. Ничего не пишется, не делается. Уехал в Сибирь поработать – вызывают! То «да», то «нет»... Измучили!

– А как же тогда «Разин»?

– Не знаю, – Василий Макарович сумрачно мотнул головой. – Не знаю, буду ли теперь вообще снимать, дадут ли. Роман у меня в «Совписе» уже сколько лет держат!

– Из-за чего?



— Из-за творчества моего! Не нравится то, что делаю. Им передовиков подавай — это я всё их требования говорил. Да и перегорел уже «Разин», боюсь теперь браться... Вон из «Характеров», из сборника, семнадцать рассказов выкинули, уже печатавшихся! А ведь у меня было построение, звучание, был подбор. Ничего не осталось...

И опять я молчала, страстно желая разделить, облегчить его страдания и понимая, что никто не в силах этого сделать. А он, словно убоявшись, что такими жалобами даёт мне повод для уныния и отступления, произнёс вдруг сжато и решительно, будто восприняв незаметно для меня ниспосланные ему свыше новые силы:

— И всё равно надо писать. Писать, независимо оттого, пойдёт в печать или нет. И не думать о редакторах. Писать! Чтобы быть честным. Перед собой. Перед людьми. Перед Богом.

Лишь сегодня сознаю, как мало я понимала из того, что говорил мне Василий Макарович, — наивна была, простодушна и доверчива ко всему, что делалось и писалось вокруг. Но последние его слова впечатились в мою память, как заповедь, которой я старалась всегда следовать.

А потом «Калина красная» вышла на экраны. И начался суд над ней: доброжелательный со стороны зрителей и изощрённо-схоластический со стороны критиков. Когда бы знать тогда, что дни художника сочтены, может, и были бы иные осмотрительней в оценках. Ведь это только кажется, что большому художнику не нужно понимания. Оно необходимо, и он, когда творит, по словам Шукшина, «бессознательно отыскивает среди зрителей, читателей, слушателей себе подобных».

Шукшин отыскал их. Сто шестьдесят тысяч писем пришло в Москву после сообщения о его смерти. А сколько таких, кто хотел, но не смог написать!..



Что же до не понявших его, то они, наверное, и дня этого, 2 октября, не помнят. Как и слов своих, брошенных во время «круглого стола» в журнале «Искусство кино».

«Его мучительные поиски пути возвращения к жизни, поиски её смысла – это, по-моему, скорее авторские побуждения, но не побуждения реального героя, – заметил тогда об образе Егора Прокудина Ал. Романов. – Даже гибель его – неизбежная и неотвратимая – не в состоянии породить к нему симпатии».

Что ж, как говорится, на нет и суда нет...

Во время обсуждения Б. Рунин сознался, что его покоробило, когда Егор «специально выходит из машины, чтобы кататься по земле от горя». «Люди типа Егора, – посчитал он, – как раз норовят расчесать себя до истерики по пустякам, а не тогда, когда они действительно несчастны».

Не забудем, что говорилось это о кульминационной сцене – о посещении Прокудиным матери, которую он не видел почти двадцать лет!

Да, готовно подхватил тогда В. Баранов, сцена после встречи с нею сделана Шукшиным так, что «дрогнули и профессионально закалённые сердца иных критиков... первичное эмоциональное воздействие фильма оказалось столь сильно, что оно притупило остроту критического анализа».

Вот ведь ужас какой: фильм заставил чувствовать!

Нет-нет, парировал справедливое недоумение С. Залыгина по этому поводу В. Баранов, дело не в этом, но всё же обязанность критика это анализ, мысль...

И только?!

Как боялась я всегда начинённых лишь мыслями статей, читая которые, с каждой строчкой всё больше осознаёшь своё ничтожество: и этого мудрёного слова я прежде не встречала, и эту цитату не знаю, и вообще – не понимаю, о чём речь. Мне ли уж тогда до верного восприятия самого писателя!

Почему-то теперь авторы подобных статей представляются мне в облике тех «китов»-abitуриентов, о которых Шукшин писал ещё во вступительной работе во ВГИК:



«Мы бессмысленно толпимся, присматриваемся друг к другу и ведём умные разговоры. Лица наши хотят выразить спокойствие и зрелость мысли... Каждый знает, что он талантливее других, и доказывает это каждым словом, каждым своим движением».

Перечитываю и думаю: как же тонко умел Шукшин уловить фальшь в человеке уже в начале своего пути! И как хорошо твёрдо знать, что к истинной жизни описанное выше не имеет никакого отношения! Верю Шукшину, сказавшему:

«Я заметил вот что: люди настоящие – самые «простые» (ненавижу это слово!) и высококультурные – во многом схожи. И те и другие не любят, например, болтать попусту, когда дело требует мысли или решительного поступка. Схожи они и в обратном: когда надо, найдут точное хлёсткое слово – вообще мастерски владеют родным языком. Схожи они в том, что природе их противно ханжество и демагогия, они просты, в сущности, как проста и сама красота и правда. Ни тем ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются, душа их открыта всем ветрам: когда больно, им больно, когда радостно, они тоже этого не скрывают».

Отчего же так любят скрывать последнее обстоятельство иные критики? Или и впрямь ничего та к о г о – из области чувств – в их душах не происходит? Вполне вероятно. Ведь упрекнул же К.Ваншенкин по время «круглого стола» фильм «Калина красная» в сентиментальности и умозрительности концепций. На что Шукшин деликатно ответил следующее:

«Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чём сокровенном у другого. Тут ничего обидного нет, можно жить вполне мирно... Но всё же мысленно я адресовался к другим людям».



Вот почему и данный разговор вокруг фильма был ничем иным, как разговором глухих. Вот почему и волновался тогда Б.Рунин, что останется втуне его «догадка». Неужели никто не заметил в «Калине красной», как актёр-Шукшин оттеснил режиссёра-Шукшина? А эстетический разрыв – неужели и этого никто не заметил!?

Не стоило бы и копья ломать, тем более что «можна жить вполне мирно», как заметил Шукшин. Но его собственный творческий опыт говорит об обратном.

Мирной обычно бывает лишь одна сторона – страдающая: не печатаемая, не снимаемая, не снимающая. Именно она, по странной особенности талантов сомневаться в своём праве на искусство, трактует собственную позицию как неправильную и отступает, в результате чего мы недосчитываемся сначала талантливых произведений, а затем и их создателей. И это лишь потому, что на пути к людям они встретили редакторов и критиков с «параллельным» жизненным опытом, с «параллельной душой»!

В жизни, к счастью, мы сами выбираем себе в друзья тех, кто способен понять в нас самое сокровенное. В искусстве, увы, проводников определяет случай. И творческая судьба Шукшина, критические баталии вокруг его имени – наглядный пример тому.

Так, критик В.Соловьёв в 1975 году помещает в журнале «Искусство кино» свои соображения по поводу «феномена Василия Шукшина». Желая познать, в чём он состоит, я, тогда мало доверявшая своим ощущениям, усиленно пробивавшая сквозь сопоставления и цитаты, сквозь «симплифицирование» и другие учёные слова. И что же? Оказалось, что опять – «параллельная душа», и прочитанное, как ни открешивался от подобного сам автор, лишь «очередной словесный венок на могилу Шукшина». Показалось даже, что и была поставлена задача – не приблизить читателя и зрителя к Шукшину, а разъединить их, убедить, что бездонна пропасть между простым потребителем искусства и тем, кто его производит.



Какова же была моя радость, когда позднее в том же журнале я прочитала у К.Рудницкого по поводу статьи В.Соловьёва следующее:

«Сильно подозреваю, что критик, который, рассуждая о Шукшине, тягается то к Горацию, то к Монтеню, находится с Шукшиным в слишком сложных взаимоотношениях». Воистину!

Ничуть не хочу умалить достоинств высказанного Г. Ка-праловым в сборнике «О Шукшине». Но досадно было читать выисканную им фразу Гегеля о том, что «абсолютная нравственная целостность есть не что иное, как *народ*». Видимо, она потребовалась автору для того, чтобы придать весомость шукшинскому тезису «*нравственность есть Правда*», ибо «*народ всегда знает Правду*». Не знал, мол, Шукшин этого гегелевского замечания, так как было оно впервые опубликовано уже после его смерти, а всё равно, дескать, молодец, «на уровне» сформулировал!

Хочется спросить: но разве всё написанное Шукшиным – и в публицистике особенно – только потому верно и глубоко, что Василий Макарович всяких философов начитался? А если он – сам, авторитетами не поддержанный, тогда как быть – ценить или не очень?.. Да и философы, насколько я понимаю, велики тем, что обнаруживают и поднимают на должную высоту именно *народную нравственность*, народное понимание жизни как истинное. Которое Шукшин и выражал. А извлечь из сокровищниц мировой культуры уйму слов, подтверждающих (а если – опровергающих!?) тот или иной тезис, может при желании каждый. Но как быть в таком случае с количеством цитат, какое число их считать уместным и достаточным? Как быть с их географическим и времененным происхождением – предпочтеть рождённые на территории нашего государства или допустить в рассуждения тех же Горация и Монтеня? Ограничиться прошлым веком или спускаться в глубь времён?

Вопросы эти далеко не риторические – они заставляют задуматься о наличии собственной позиции. И когда я начала писать эту работу, то поняла вдруг: да все мы рождаемся не



взрослыми! И у тех – даже древнейших, на кого так хочется ссылаться для собственной солидности, – у них тоже было детство и период ученичества, были пробы и ошибки; и они, эти мудрые, тоже – в соответствии со своим опытом – подхватывали и усваивали или отрицали выводы своих предшественников. Значит, выражали отнюдь не единичное своё мнение, а взгляды целого пласта народа. Какие же могут быть цитаты и сноски, если народ – это всегда безымянно, если это – убеждения миллионов?

Вот почему не терплю статей заумных. Хочу видеть за ними не горы пролистанных книг, не критика, который вступает со своими коллегами в соревнование по начитанности, а *человека*, которому художник – в нашем случае Шукшин – что-то открыл или перевернул душу.

А если не открыл, не перевернул? Тогда о чём и говорить, если говорить на разных языках?! Ведь никогда – согласно законам – «параллельные души» не станут ближе друг к другу. Как никогда – даже на том свете – не найдут общей темы «бездарный генерал-адмирал Алексей, соривший деньгами русского народа», и дядя Емельян, бывший матрос и пастух из рассказа «Чужие».

Удивительно это Шукшину, ведь они – «дети одного народа». Удивительно тем более, что есть на свете совсем иные, одинаково красивые душой люди, несмотря на разницу в их общественном положении:

«Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой «одолел» Гегеля, Маркса... Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими, – Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-нальчника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо».



Ах, как прекрасно душе в шукшинском мире среди таких людей! Сколько силы даёт общение с ними! И снова и снова убеждаешься: главное быть и оставаться человеком, а образованность – дело наживное. *«Неужели в том только и беда, что слов этих»* – умных – иные не знают? В том беда, что Пашка, например, Колокольников, не интеллектуал?

Беда! – заявляли многие в начале шестидесятых, когда вышел на экраны фильм «Живёт такой парень» и когда так насаждался культ учёности. Какой же нравственной прочностью надо было обладать, чтобы осмелиться предложить публике, жаждущей мыслителя, обыкновенного пустобрёха Пашку! Но Шукшин всегда был уверен, что *«умность, значимость – в простоте и ясности нашей, в неподдельности»*. И, предвидя последствия «перекоса» и принимая всеобщие ссылки на нехватку знаний в сельском человеке, писал в статье «Вопросы самому себе»:

«...это всё надо делать – объяснять, рассказывать, учить. Причём учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали... Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть учёным, конструктором, «большим» человеком и меньше всего готовился стать крестьянином».

Плоды этого воспитательного крена мы теперь пожинаем сполна и – уже без Шукшина – понимаем, что многие проблемы есть следствие духовного надлома крестьянина, переставшего ощущать *«уверенность в ценности его пребывания»* на земле. «Постарались» на этом поприще, по мысли Шукшина, *«в меру сил и кино, и литература, и школа»*. Естественно, не обошлось и без критического цеха.

Вот сохранённая мной вырезка из «Комсомольской правды» за 12 мая 1966 года. Тогда, в шестнадцать лет, имя Шукшина я ещё не выделяла среди других. Но я нуждалась, похоже, в таком публичном слове, какое произнёс в защиту филь-



ма «Ваш сын и брат» Григорий Чухрай. Он вступил в бой с критиком «Литературной газеты» В.Орловым, объявившим картину пустышкой.

А что же я, как я восприняла тогда фильм? Не без опасений отыскала в своём школьных лет дневнике короткую, но твёрдую запись: «Смотрела «Ваш сын и брат». Понравилось!»

И всё же – беспомощные шестнадцать... Сколько неясного впереди! И как легко сбиться с пути!

Всегда памятуя о сложности такого возраста, Василий Макарович в повести «Там, вдали» писал о расходящейся вдруг надвое жизненной дороге:

«По какой идти – неизвестно. А идти надо. И до того тяжело это – выбирать, аж сердце заболит. И потом, когда уж идёшь, и то болит. Думаешь: «А правильно? Может, не сюда надо было?»

На что полагаться в этих ощущениях неопытной душе? Она невольно ищет вокруг толкователей, способных обозначить грань между ложью и правдой, между псевдоискусством и истинным. И честная критика не имеет права полагаться на то, что произведения художника сами найдут адресата. Людям с твёрдым и непреклонным знанием того, что хорошо и что плохо, может быть, и не нужны в общении с искусством посредники, для них лучшие его образцы станут лишь подтверждением их собственного опыта. Но как воздух необходимо своевременное слово тем, кто не обнаруживает пока прочную нравственную опору, тем людям, которыми, по Шукшину, «на веру берутся какие-то такие ценности, которые не есть ценности». Свято место не будет пусто, и когда не звучит голос строгой правды, его замещают холодные голоса бойких критиков, несущих в мир свои взгляды.

«Почему же человек, который должен понимать значительно больше, чем обыкновенный зритель, понял всё не так? – недоумевал Григорий Чухрай по поводу отрицания В.Орловым фильма «Ваш сын и брат». – Да потому, что стал анализировать произведение искус-



ства неприемлемым методом. Любовь, ненависть, страсть, равнодушие не менее важные причины человеческих поступков, чем так называемый здравый смысл. А критик пытается объяснить фильм и поступки его героев с помощью голого рационализма... Рационализм часто подкупает своей видимой ясностью. Людям кажется, что, слушая таких рационалистов, они постигают истину. Но это глубочайшее заблуждение. Порывы человеческой души иногда бывают разумнее, плодотворнее и выше холодных логических построений. Не понимая этого, нельзя понять ничего».

Вот так оказался совсем не понятным В.Орлову бежавший из тюрьмы Степан Воеводин, возжаждавший воздуха родины; не внятен ему и Максим Воеводин, мечущийся по аптекам в поисках змеиного яда и страдающий от человеческого равнодушия.

К слову сказать, образ последнего не раз подвергался новым трактовкам. Так, Г.Белая в книге «Художественный мир современной прозы» обвиняет Максима в том, что он бросил в деревне мать, а позволяет себе возмущаться горожанами. Поистине – валить с больной головы на здоровую!

Подобным образом рассудил и В.Орлов. У нас что, мало заботятся о больных? Мы плохо живём?

По поводу таких критических выпадов Шукшин пометил однажды в записных книжках:

«Вообще говоря, вырисовывается как будто и теорийка: «Смещение акцентов». Главное (главную мысль, радость, боль, сострадание) – не акцентировать, давать вровень с неглавным. Но – умело давать. Работать под наив».

Свою задачу художник Шукшин понимал иначе. И заявлял об этом открыто и недвусмысленно ещё в статье «Нравственность есть Правда». Никогда он не закрывал глаза на теневые стороны жизни, потому что герои его – не ангелы. И потому, наверное, «параллельным душам» они так часто оказались хулиганами и циниками.

«Вы меня своей статьёй, – писал Шукшин Ларисе Крячко, опубликовавшей в «Октябре» № 2 за 1966 год свой «Бой



за доброту», — лишили, знаете, возможности самому понять, что есть герой нашего времени».

Вот вам и «безобидное» критическое слово! Уж коли автора оно может с ног сбить, то каково же юным читателям? Критики, если они недобрые, тоже ведь «подбирают таких вот неопытных людей и обращают их в свою веру или приобщают к своему делу... А человечек хороший был. Душа у него была добрая».

Почему всплыли теперь вот эти шукшинские слова сожаления по загубленной жизни Прокудина? Не случайно ведь всплыли...

Как же важно людям вовремя сказанное и услышанное правдивое слово критика! И как нужны и сегодня те горячие, страстные строки письма Шукшина ко Крячко. Они так чётко расставляют всё по своим местам, что кажется — больше и говорить-то не о чём.

«...я не понимаю, почему грузчик, поднявший на свои плечи 15 тонн груза за день, для Вас — не герой, работающий на коммунизм. Для меня это — герой, сваливший 15 тонн груза во имя коммунизма. И я хочу видеть и Вам показать, как он вечером ужинает, смотрит телевизор, ложится спать. Для меня это — общественно важный образ. А Вам — нет? Кто же Вам тогда дома строит? Хлеб сеет? Жнёт? Булки печёт? Давайте будем реальны. Давайте так: Вы за коммунизм, который надо строить, или Вы за коммунизм, который уже есть? Я — за коммунизм, который надо строить. Стало быть, героев не надо торопить. Не надо их выдумывать — главное...»

Среди таких невыдуманных героев Шукшина — Сеня Громов из раннего рассказа «Коленчатые валы». С его уст тоже не сходит так вдохновлявшее всех в те годы слово «коммунизм».

«— Мы ужсе к коммунизму п-подходим!.. Я же на общее дело...» — не понимает Сеня, почему соседний колхоз не хочет поделиться запчастями. Однако и брать их — предла-



гаемые – от человека, который не разделяет его жизненной устремлённости, Сеня не будет.

«– Ну, на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны?»

Сеня, не прожевав кусок, воскликнул:

– Я ему битый час т-т-толкую, а он!..

– Я говорю: тебе! лично тебе!»

Но – не внятно лысому такое «личное» отношение к государственным валам. Вот почему «Сеня менялся на глазах – темнел.

– Почему, интересно, в коммунизм не веришь? – переспросил он». А чуть позже «отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду». А потом ещё догнал лысого и «пнул в толстый зад».

Разве не хулиган этот Сеня? Тем более можно понять Л.Крячко, которая испугалась в рецензии и вообще отпетого героя – бежавшего из тюрьмы Стёпку. Ни о каких высоких материях он и подавно не рассуждал, всё достоинство его – это неуправляемая доброта. Только разве это достоинство?

Для кого как. И потому – бойтесь «параллельных душ»! Много желающих погреться слетелось на посмертную славу Шукшина, и не сразу разберёшь, кто друг, а кто тайный недруг. А таланту доброе ясное слово критика после смерти ещё нужнее, ибо сам он уже не волен вступить в спор, и борьбу вместо него ведут его беззащитные произведения.

YШукшина в 1974-м читателей стало больше, чем у кого бы то ни было. Смерть художника заставила всех вздрогнуть и обратиться взорами назад, на стремительный его взлёт и успех. Шукшин дал, вернул народу своеобразное «Верую!» – в духовную силу нации, в непреклонную её гордость, в неистощимые запасы человеческой мудрости, любви и доброты. «Верую!» это эхом отзывалось в каждом чистом человеческом сердце. И в каждом запеклась боль, рождающая тоску по совершенству, зовущая разгадать загадку



Шукшина. Все ринулись в библиотеки. В кино. На родину писателя.

Дурно ли это? Плохо ли – даже если «мода»? Тысячи сердец, готовых внимать великой и обнажённой правде художника. Такие редкие моменты нельзя упускать. И задача близких по жизни и по духу – не позволить нанести притягательному творчеству хитрый удар, предотвратить его своим честным словом. Обезоружить тех, кто, идя параллельно, хочет черпать из не принадлежащего им колодца и мутить в нём воду, дабы не углядеть было на дне его истины, дабы смешать воедино добро и зло и сделать бессмысленной борьбу между ними.

А потому ещё раз: бойтесь «параллельных душ»! Они не призовут, как Шукшин, чаще привлекать «для решения вопросов в тех или иных ситуациях совесть, силу сердца своего». Они всему предпочтут ум да разум. Они будут страстны, но вы даже не поймёте, к чему они зовут, и не заметите подмены понятий – так всё будет в их статьях учёно, многословно и запутано.

Бойтесь лёгких на слово изящных критиков, для которых каждая фраза не есть выстраданная, не есть обнажённый нерв. Они за расхожими красотами прячут пустоту души, а может, и полное отсутствие оной. Но зато они много говорят о душе и доброте. Они лгут! Доброта вне рассуждений.

Доверьтесь Шукшину, пометившему в записных книжках как нравственный итог и ориентир для себя:

«Правда всегда немногословна. Ложь – да... Ложь, ложь, ложь... Ложь во спасение, ложь – во искупление вины, ложь – достижение цели, ложь – карьера, благополучие, ордена, квартиры...»

Ложь всегда облачена в длинный словесный фрак – чтобы поверили в её «возвышенные» замыслы, чтобы забыли, с чего всё начиналось и чем кончилось...



А мы не забудем! Всё начинается там, где начинаются доброта и правда, и кончается там, где места им нет.

«...не считаю, что я меньшие Вас думаю о будущем моего народа, – писал Шукшин Крячко. – Давайте считаться с тем, что есть наша жизнь. В кабинетах торопить её удобнее всего... Когда всем будет хорошо, по-моему, это – коммунизм».

Не станем здесь касаться реалий сегодняшней жизни и прежних представлений о наилучшем устройстве общества. Обратим внимание на писательское понимание цели нашего всеобщего развития: хорошо должно быть в с е м. И свою задачу Василий Макарович видел как раз в этом – разбираться в ситуациях, когда кому-то плохо, кто-то обижен, обделён, не понят, отторгнут, оскорблён.

А таких людей всегда было – и всегда будет? – бесконечное множество, вот почему Шукшин писал так безудержно. Он давал нам крупным планом разные характеры, чтобы мы взгляделись и задумались: почему так? Просто «чудики» чудят, или всё-таки это бунтуют пока не сломленные люди, выступающие против бесхозяйственности, понукания, унижения, стандартизации человека?

Он сознавал: каждая несчастная, искривлённая, искалеченная судьба – это сигнал о неблагополучии в каком-то звене нашего общества, это свидетельство того, что положительные усилия его членов не согласованы и обречены на неуспех. Именно об этом рассуждает он к концу жизни вместе со своим Н.Н.Князевым в рассказе «Штрихи к портрету».

И как же нужно постараться, чтобы эти писательские усилия увидеть в кривом зеркале!

«Своих героев Шукшин искал среди людей, с которыми когда-то жил, встречался, которых хорошо знал, – доверительно размышлял в «Искусстве кино» в 1976 году Ал.Романов. – В большинстве своём – это подчёркнуто простые люди, они грубоваты, их духовный багаж невелик, хотя иным из них и не откажешь в душевности и доброте».

И на том спасибо...



«Поначалу он вроде бы даже гордится этими людьми и относится к ним любовно, но тут же...»

Вот здесь будем повнимательней!

«...разубеждает нас в этом, словно стесняясь, что он свёл читателей и зрителей с теми, кто не всегда заслуживает безоговорочного уважения... его герои, те, кто в прошлом был близок ему, на поверку оказывались людьми мелкими, не состоятельными».

Просто поразительно, как *п* *р* *а* *в* *д* *у* образа можно принять за...стеснение! Глубину души – за мелкость. Однако подобное утверждение не единично.

Возьмём рассказ «Верую!» – одному Богу известно, как сотворённый. То, что делается в душе после прочтения его, трудно определить общепринятыми словами о катарсисе, об очищении; кажется, сама жизнь раздвигает свои границы и становится большой-пребольшой и полной красивых, сильных и добрых людей, к которым хочется выйти с распахнутым сердцем...

«Безвкусная в своей нарочитой красочности и нарочитой же значительности» новелла – заявили критики Соловьёва и Шитова доживавшему последние полгода Шукшину. Да поверим, что слова сии и подобные не способны убивать!

А Лев Аннинский уже вслед ушедшему художнику в порыве словотворчества обозвал боль души Максима Ярикова из «Верую!» «бессмысленной дыркой». Какая там боль? «Пустота, полость» в душе, «заполошная маэта»! Жили бы себе тихо, так нет!..

Но Боже ж мой! Как страшно иногда бывает за такую беззащитную шукшинскую прозу. Каждый может высказать себя – в связи с нею, – а потом пусть докажут все эти, у которых «душа болит», что они – не верблюды; пусть справку принесут, что они – умные. А пока они ходят, до третьих петухов, их тут «три грации» критические – «уделают. Голенёвами выставят – со всех сторон».

Где же Вы, Василий Макарович?! Ведь дорогие нам люди – это «бесконечно добрые люди, талантливые и ничем в жизни не защищённые: ни позой, ни демагогией, ни умением при-



спосабливаться. И деятельность сильных и мудрых... в значительной степени должна бы охранять в мире эту подлинно человеческую ценность».

Простите, но и своим долгом считаю эту охрану. В меру сил моих. И в жизни, и на этих страницах. Пишу! «Может, — помню Ваши давние слова из «Воскресной тоски», — может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность...» Но — пишу. Не дают мне покоя иные критические голоса. И в первую очередь голос Льва Аннинского.

Уже в который раз перечитываю его мудрствования по поводу «шукшинской жизни», опубликованные в первом номере журнала «Литературное обозрение» за 1974 год. Перечитываю в надежде углядеть, где же в тексте происходит подмена чувств и понятий, заявленных первоначально. Пытаюсь — и не могу уловить, настолько это сделано мастерски, будто ловкими руками фокусника.

Вроде бы и не скажешь, что автор не принимает, не понимает, недолюбливает дорогих Шукшину героев. Он с заинтересованным видом вникает в их быт и беды, даже смахивает подпущенную слезу. И вдруг пишет такое:

«Первое, что объединяет его персонажей, — они все так или иначе погружены в беспощадную материальность интересов... Или тайная мечта об «окладе дармовом», тайная зависть к «устроившимся», или тайное презрение к самим себе, что завидуют».

Примечательно, что подобный вывод базируется всего лишь на нескольких вырванных из текста фразах типа: «*Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает*» или «*Ох, и навезли!.. Два платка вот таких — цветастые, с тиствами, платье атласное, две скатерти, тоже с тиствами...*»

Тем, кто хорошо знаком с прозой Шукшина, нет нужды пояснять, какие непростые чувства спрятаны у героев за по-



добными словами. Равно как целая буря раздумий прячется у Прокудина за ласковыми словами, с которыми он поглаживает стволы берёз. Но тем, кто подобного никогда не ощущал, объяснения ничего не дадут, вывод останется прежним:

«Какая чудовищная обиженнность, какой классический комплекс не-
полноты и какая бесконечная мстительность...»

И это – о героях Шукшина! Да и что с них взять, если они – «вечные шуты», традиционные дурачки, деревенские «чудики», остер-
венелые правдоискатели»?! Правда, персонаж Шукшина щёк «смутно догадывается, что при всей материальной укреплённости его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным», однако, по Ан-
нинскому, выходит, что чуть ли не сами шукшинские герои в этом виноваты, сами они отказали своей душе в здоровой пище и питали её суррогатами.

Что это не так, мы теперь не просто догадываемся...
Аннинский и тут изошёлся на нововведение, так говоря о Спирьке Растворгуве из «Сураза»:

«...душа у него, как и у всех шукшинских героев, детская. И уязв-
лённая».

Конечно, всяк имеет право на своё мнение исходя из соб-
ственного опыта. Однако испокон веку принято было гово-
рить о детской душе как о невинной и чистой, а потому осо-
бенно чутко реагирующей на несправедливость и грязь. Для
меня лично именно этим – детской непосредственностью и
незащищённостью – и бесценны положительные шукшин-
ские типы. А отрицательные...

Чуть позднее в другом журнале Л.Аннинский так развёл
их по сторонам:

«На одном полюсе этого мятежного мира – тихий «чудик», робко
тыкающийся к людям со своим добром, вечно попадающий впросак и
теряющийся, когда его ненавидят.

На другом полюсе – заводной мужик, захлебывающийся безрасчёт-
ной ненавистью, только и мечтающий – взлететь над заезжим умником и
«скружить» на него сверху: посрамить, унизить, втолтать».

Быть может, кто-то предложит и другой расклад. Мне се-
годня кажется, что все герои Шукшина чётко делятся на два



следующих лагеря: на тех, кто подчинился ложным правилам жизни, пасовал перед их давлением, и на таких, кто не сдался и всегда помнил, что «*русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту*». И те, которые вторые, не отдали «всего этого за понюх табаку» и неотступно борются за лучшее в человеке.

Почему же случается, что безоружная доброта кажется критикам агрессивным злом? Откуда происходит такое иска-
жённое восприятие Шукшина тем же Аннинским?

Мне кажется, я однажды поняла его. 22 апреля 1987 года в «Литературной газете» в беседе с Татьяной Глушкиной он публично попросил оставить за ним «одно право: чувствовать себя изуродованным». Чувствовать и – пропагандировать эти чувства, что для него равнозначно.

«Ощущение катастрофы, угроза которой привычна, – говорил он, – … это моё состояние. Причём с детства. С того момента, когда ожидаемая мировая гармония, в которую я успел поверить, обернулась мировойвойной и другими событиями, в которые я, прости мою нелогичность, до сих пор до конца «проверить» не могу… Возможно, я ненормален, но другой жизни мне не дали».

После такого признания понятны становятся настораживающие пассажи в статьях Аннинского – ведь в его внутреннем мире «ничто не закреплено: ни черты характеров, ни признаки вещей. Каждый готов стать всем и рискует остаться ничем… В этом вращении всего и вся признаки драматически отлетают от вещей, слова – от явлений, традиционные ценности – от ценностей меняющихся…»

А мы, наивные, ждём вразумления и верного толкования! Зачем, если обо всём уже сказали наше сердце?! И хочется бежать от подобной сумятицы назад, в ясный безоглядный мир шукшинских героев. Пусть и чудиков, но таких славных, добрых и бескорыстных в своих чудацствах.

Хочется к ветфельдшеру Козулину, в честь победы медиков прокричавшему в ночи под выстрел из ружья «Даёшь сердце!»



Хочется к Броньке Пупкову, страдавшему оттого, что не удалось убить фюрера.

Хочется к товарищу Н.Н.Князеву, по предложению которого всеми насыпается холм нашего светлого будущего; кстати, а вы бросили в него свою горсть?

Хочется и к психопату-библиотекарю, который обозвал доктора с бородкой «живым трупом» и, кажется, пробудил в нём что-то дремавшее, человеческое.

Хочется ко всем тем, кто своим неординарным поведением вызывал повышенное внимание к непорядкам в культуре, медицине, в сельском хозяйстве, науке – повсюду.

Пусть эти люди не всегда логичны, но – искренни, и главное – с ними тепло.

Древние говорили: «На надгробьях надо писать не то, кем человек был, а кем он мог быть»...Как знать, быть может, вот это самое «душа болит» у шукшинских героев, тоска необъяснимая – она и впрямь есть ощущение человеком своего истинного и почему-то не исполнившегося предназначения?

И шорник Антип Калачиков из рассказа «Одни» в лучшие времена непременно был бы удивительным балалаечником.

И Гена Пройдисвет сочинял бы не пустые куплетики для эстрады, а настоящие песни.

И Сёмка Рысь стал бы не столяром, пусть и непревзойдённым, но мастером архитектуры, которая так тревожила его душу.

Моня Квасов, выучившись, изобретал бы не вечные двигатели, но и не известные всем велосипеды, а что-то очень нужное людям.

Да и ненормальный «гражданин и человек Н.Н.Князев» не тайком от жены писал бы свои трактаты о государстве, а сидя в подходящем для этого присутственном месте. Помните, как он, «несколько ушибленный общими вопросами», предлагает нам задуматься над пользой, приносимой каждым обществу?



«Государство – это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причём, этажи постепенно сужаются, пока не останется на верху одна комната, где и помещается пульт управления... А население этажей – в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, всё здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже – «х» – уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку; закон справедливости нарушен. Нарушен закон равновесия – на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи...»

«Наверное, будет когда-нибудь на земле такое общество, – верил Шукшин. – Но пока что есть жгучая необходимость кричать и кричать слышащим, что надо, что можно быть лучше, добруе».

Разве не очевидно всякому это разительное расхождение в восприятии мира: от «будет когда-нибудь на земле такое общество» у Шукшина до «я живу в ощущении возможной катастрофы, и это норма» у Аннинского? Разве это не свидетельствует о невозможности понимания вторым первого? И разве это не должно стать поводом для раздумий над тем, почему так часто комментатором Шукшина становился Лев Аннинский?

Почему именно ему в своё время доверено было написать вступление к сборнику «Вопросы самому себе», вобравшему в себя всю шукшинскую публицистику? Или не пугает никого возможность навязывания молодому читателю таких ценностей, которые, по Шукшину, «не есть ценности»? Ведь снова ведётся разговор о пресловутой научно-технической революции, виновнице всего, выдумываются якобы существовавшие у Шукшина три основных понятия: Труд, Мечта, Праздник. Внешне вроде бы всё написано безобидно, и вместе с тем...



Не раз многие авторы, в частности, Вл.Гусев в 1974 году, отмечал, что Л.Аннинский «находит у Шукшина не то, что в нём реально есть, ...а то, что хотел бы видеть».

Редакция журнала «Литературное обозрение» тогда присоединилась к этому замечанию:

«Л.Аннинский в своих рассуждениях опирается не столько на конкретный материал, на реальное многообразие характеров, изображаемых Шукшиным, сколько на собственное, достаточно вольное, «общее представление» о нравственно-философском пафосе этого писателя».

В том же году журнал «Вопросы литературы» подчёркивал, что наряду с меткими характеристиками в выступлениях этого критика есть «наблюдения, грешащие абстрактностью, сводящиеся к произвольной, если не узкоформальной, перетасовке чисто сюжетных ситуаций, отдельных изобразительных приёмов».

Казалось бы – король гол, и если ему не во что одеться, то в приличных домах перед ним просто не должны открываться двери. Ах нет! В ноябрьском номере за 1976 год журнал «Север» помещает статью Льва Аннинского «Путь Василия Шукшина», которая наполовину состоит из критических выводов, уже получивших нелестную оценку в «Литобозрении». Что это было – неразборчивость или просто неосведомлённость о том, что делалось в критике?

Через три года по поводу этой работы Аннинского было высказано писательское недоумение на страницах журнала «Наш современник». Справедливо отмечалось, что многие из обобщений статьи «носят слишком «ответственный» характер, чтобы их можно было оставить без комментариев». Однако вслед за этим журнал, призывающий «по возможности...корректировать» критиков, неожиданно пришёл к примирительному выводу:

«образы, созданные Шукшиным, настолько ёмки, настолько «заряжены» всевозможными ассоциациями, что читательское сознание, непрерывно обогащающееся новым опытом, воспринимает эти образы во всём более и более широком жизненном контексте», а потому подобное «слишком» «зоркое» прочтение» Шукшина (это у Аннинского-то! – Н.В.) «можно считать даже до известной степени естественным». Много-де будет у Шукшина прочтений, что ж поделаешь!..



За что же боролись?! Какие идеалы отстаивали страной раньше, если милостиво затем отдаём всё на откуп «параллельным душам»?

Не удивительно после этого, что и в трёхтомнике Шукшина, издававшемся в «Молодой гвардии» с 1984 года, среди комментаторов обнаруживается тот же Лев Аннинский. И если в сносках прорезаться со своим восприятием ему было трудновато, то повлиять на вступление, написанное Сергеем Залыгиным, удалось вполне. Маститый классик обнаружил лишь одного – не будем называть! – критика, проникшего в «шукшинскую жизнь». И вот уже ему самому героя Шукшина стали казаться кем-то вроде самодеятельных изобретателей в социально-нравственной области...

Но неужели он тоже готов был вслед за Аннинским угадывать в произведениях Шукшина жалость к героям там, где у автора была гордость за них, и выдавать за «душевную пустоту» то, что в понимании Шукшина было проявлением несломленной духовности? Как человек, бывший тогда председателем комиссии по литературному наследию В.М.Шукшина, он невольно авторитетом своим отсыпал читателей к статьям этого критика и к измышлениям других «параллельных» исследователей.

Вот о чём болела и болит моя душа.

А впрочем, стоило ли городить такой огород? Разве столь уж существенна роль критики в нашем восприятии литературы?

Опять доверимся Шукшину, сказавшему как-то:
«Критиков не боюсь – у них свои штампы; боюсь непосредственного зрителя, который больше знает жизнь, остreee чувствует и подлинность, и фальшь».

Так и я боялась земляков своих. Боялась деда и отца, сувенировых бы, как шукшинский Тимофей из рассказа «Крити-



ки», запустить в экран телевизора сапогом – за жизненную неправду.

Верила бабке моей, которая, безвыездно прожив свой век в деревне, никогда не считала себя *«обойдённой при дележе социальных богатств»*, и которая, когда я прочитала ей Шукшина, сказала, словно дорогую медаль навесила:

– Этот – самый жалостливый. Нутром чует...

Более всего ценю рецензии не специалистов, а обычновенных людей, первыми оставивших свои записи в книге отзывов музея Шукшина в Сростках. Пусть они достойно и завершат мои долгие размышления.

«Я шестиклассник, и прежде чем приехать сюда, прочитал тридцать три рассказа Василия Макаровича, и прочту все остальные, очень хочется!»

«Как-то горько и больно, что мы начинаем понимать истинную цену утраченному, когда уже невозможно ничего вернуть. Ведь Василий Макарович жил среди нас, рядом с нами. Жил, творил, страдал, мучился... А кто-то (не мы ли?) посмеивался, сплетничал, кто-то иронизировал, кто-то не понимал. И теперь только, когда его нет, мы спохватились. Неужели до сих пор в России нужно умереть, чтобы стать знаменитым? Но прекрасно, что память народная сохраняет, очищает всё истинное от шлака. И будет поток людской сюда всё сильней и шире. Ибо нет святыни для русского народа места, чем то, где родился и жил талант, ставший народной совестью и гордостью».

«Хочу вынырнуть из небытия столетий через пять мудрой-премудрой и самыми нужными словами сказать людям, как вы были нам нужны. Как много вы можете, люди искусства! Врываитесь в наши души так, как это делал Шукшин, наполните их беспокойством и болью, желанием выйти из оболочки пустой жизни, не забыв при этом долбануть скорлупу соседа, себе подобного».

«Я из племени полуобывателей. А таким вы не даёте покоя. Надо же человеком становиться! Знаете, это очень просто сделать – чувствовать вас всегда рядом. Не забывать ни на минуту, о чём болело ваше сердце, в большом и в малом. У меня есть маленький человечек. Вот мы вместе и поможем ему дотопать до вершины – человека по-шукшински».



«Я не знал его при жизни. Кинокадры... Крупный план.
Красный сок калины брызнул кровью на киноэкран...»

«Не могу писать – плачу. Надо всё читать, читать, заново думать и
жить с народом рабочим».

«Здесь его уход воспринимаешь как трагедию века».

«Прекрасно и достойно уважения то, что люди берегут и сохраняют
памятники культуры. Но всё же главный памятник человечества – и на-
именее защищённый, и наиболее уязвимый – сам человек. Хочется вос-
клиknуть: берегите талантливых людей! Всеми силами поддерживайте в
них огонь их души, если самим вам не дано так ярко и светло гореть».

«Моя б воля – я б вам второе сердце отдала, своё – чтоб ваше отды-
хать могло...»

«Он любил помолчать. Помолчим и мы».

Помолчим...

1989 год



«МЫ, КАК КИНОАППАРАТЫ...»

ВЕРШИНЫ

О зарением пришло вдруг понимание великой разницы времён.

Сегодня мы живём в мире, который ежечасно готов и почти жаждет содрогнуться от страшных фактов низости и жестокости человеческой; словно всё, что проходит перед нашим слухом и взором, есть лишь бесконечно растянутый детектив, а мы — его читатели либо зрители, но никак не возможные жертвы.

Прежде же, четверть века назад, наше стабильное общество способны были сотрясти разве что сообщения об уходе из жизни великих людей; никто не мог поручиться, что с годами на смену одной духовной вершине придёт другая, способная так же отразить своё, новое время, как сумели сделать то его великие предшественники.

Ныне от высокогорного хребта властителей дум наших остались считанные пики, и нет уже желающих покорять их, сравнившись с ними. Вместо новых горных цепей на бескрайних наших просторах всё чаще обнаруживаются тектонические разломы, и душные испражнения недр прорываются наружу, нарушая экологию не только дикой, но и бесценной от рождения неповторимой человеческой природы.

Сознавать это горько, но ещё горше признаваться себе в бессилии изменить что-либо в сложившемся порядке вещей: мы — из века уходящего, и не дано нам сил для поворота вре-



мён вспять, ибо то, что должно стать последствием прошлого, станет им непременно и плоды свои ядовитые принесёт в полной мере.

Есть одна лишь надежда во мраке грядущего завтра: не может жизнь прерваться без подсчёта обретений и утрат, и те души, что заслужили парение в небесах, будут приняты ими легко и безропотно, тогда как падшие поглотит преисподня, и тем исполнится предсказание, данное многими в разные времена.

И жива ещё вера, что не всё прогнило в этом мире дотла, как не может истлеть всё и сразу бескрайнее полотно, пусть и побиваемое извечной непогодой. Непременно сохранятся в нём островки прочности, о которых не ведал и мастер-создатель и которые живучестью своей даже его поставят в тупик перед заново упорхнувшей загадкой вечности, коей пронизан каждый клочок материального и совсем не возвышенного земного быта. Те нерушимые островки, как ковчег Ноя, станут реальной почвой для завтрашнего мира, и нетленные ростки уже прорвали перемёрзшую оболочку зерна, чтобы стать послезавтра налившейся нивой.

Холить их, удобрять, спасать от сорняков – есть ли занятие более благородное и важное теперь, когда застыли времена и содрогнулись от безмерности бед человеческих? Не кричать вслед обезумевшим толпам о дикости пира во время чумы, не метать бисер перед свиньями, а – открывать двери перед стучащимися, говорить с имеющими уши. Вы ведь слышите нас теперь?

Ну, а иные... Мы протянем им в трудный момент нашу твёрдую руку помощи. Мы же знаем: как в ветхое время, из будущих волн мирового потопа – лишь проглянет во мгле вековечное солнце, – устремлённые к свету, непременно выглядят седовласые вершины прежней жизни. Им от века суждена роль горы Араат, воспринявшей надежду на завтрашний день. И только им благодаря спасутся избранные...



Втой гряде, что почти поглотила стихия, среди пиков великих есть пик Шукшина.

И на небе ночном загорается где-то, вновь открыта, планета – имени Шукшина...

Всё рухнуло в один миг – с сообщением о смерти Василия Макаровича. И словно горные цепи дрогнули и осели, превращаясь в прах. И громовые судилищные раскаты пронеслись в небесах и над водою. Тягостно и сиротливо стало на земле, и потянулись окаменевшие души одна к одной, чтобы сплотиться в горе.

«Сибирь в осеннем золоте, в Москве – шум шин. В Москве, в Сибири, в Вологде дрожит и рвётся в проводе: «Шукшин...Шукшин...» – выдохнула потрясённая Ольга Фокина.

Вслед за угольными рамками некрологов замелькают на газетных и журнальных страницах заголовки статей, пытающихся охватить невиданный доселе всплеск жизни под названием Шукшин. Но можно ли было понять его тогда, коли и теперь, через четверть века, мы не в силах ещё сформулировать своё и его место в той системе координат, которая зовётся вечностью, и лишь обескураженно топчемся у подножия горы, где не ощущается ни поток времён, ни безмерное вокруг пространство. Ему, Василию Макаровичу, с высоты его духа явно виделось такое, к чему мы в большинстве своём никак не можем докарабкаться и вновь и вновь скатываемся вниз.

И всё-таки, всё-таки... Любое приближение к истине начинается с чувства сопричастности, родства, отрыва от твоей плоти – в случае утраты человека – огромной и важной её части, без которой сама жизнь кажется поначалу немыслимой.

‘Завтра, 7 октября, исполняется 25 лет с того дня, как хоронили на Новодевичьем кладбище Шукшина. В Москве было двадцать градусов тепла, и волосы на обнажённых го-



ловах не колебал ветер. Шукшин лежал отрешённый от земных прелестей, и не сожалел о том, и пришедших призывал не сожалеть, но его не слышали...

Нынче летом, достаточно замеченный, миновал 70-летний юбилей художника, и вряд ли кто из официальных органов теперь, по осени, всерьёз отнесётся к «круглой» дате его ухода. Только самым близким в очередной, двадцать пятый раз станет нестерпимо больно, и полыхнёт в сердце кровь, и застелет глаза мокрой тучей. Да лягут на могилу гроздья калины.

Ох уж эти даты, круглые и не очень! Общественная шумиха вокруг них набивает такую оскомуину, что сразу после юбилея мы готовы вычеркнуть из памяти и из жизни своей то, что ещё вчера казалось нашей сутью. Кем-то, возможно, надолго будет забыт и Шукшин. Но были люди – несколько поколений, для которых Василий Макарович стал целой эпохой, и никакими силами нельзя вытравить его из судеб. Его чувствами, его взглядами, его тягостными раздумьями повествуют они в жизни каждый свой шаг, а это означает, что Василий Макарович идёт с нами бок о бок и продолжает диалог.

А ещё есть земли, которые были Шукшину близкими и желанными, и наряду с родимым его Алтаем – наша берёзовая Вологодчина, белозерские озёрные края, в которых снимал он «Калину красную». Долго ещё будут жить легенды, правдивые и не очень, о том, каким он предстал человеком перед нашими земляками, о том, что мечталось ему чуть ли не насовсем поселиться среди милых ему северных сельских людей, похожих нравом на его родных сростинцев.

Но 2 октября 25 лет назад остановилось его сердце. И мы остались на этой земле продолжать жить без Шукшина.



«МУРАШКИ ПО СПИНЕ»

Вокруг его ухода теперь всё больше нагнетается страсти и в центральной, и в местной прессе. Дескать, было кому и за что «помочь» Василию Макаровичу уйти в иной мир. Дескать, слишком близко он подошёл к пониманию целенаправленного геноцида русского народа и мог бы в сегодняшние смутные времена вырасти в истинного заступника нации, содействовать её духовному возрождению.

Не исключено первое, и несомненно второе. И вместе с тем сердце противится той интонации, с какой преподносятся сведения, якобы проливающие свет на тайну его ухода. Предположения, пусть и очень правдоподобные, выглядят в них почти как доказательства вины незримого врага, против которого мы призваны ополчиться спустя четверть века.

Однако не пойман – не вор. И тот же уважаемый шукшинский оператор Анатолий Заболоцкий до конца дней своих обречён сожалеть, что прядь волос Василия Макаровича, которые при последнем прощании с телом мужа отдала ему Лидия Николаевна Федосеева, он не сохранил для экспертизы, а зачем-то положил в гроб. Возможно, и стало бы ясным, какой интоксикации не выдержало сердце художника. А так и «инфарктный» газ с запахом корицы, который ощущил Георгий Бурков, зайдя в каюту умершего Шукшина, остаётся лишь гипотетическим летучим соединением. Да и узнали мы о нём не в те далёкие горестные дни от самого Георгия Буркова, а лишь два года назад от его друга Панкратова-Чёрного, якобы посвящённого в своё время в эту тайну-предположение. Боялся Георгий Иванович при жизни говорить об этом и разрешил другу открыться лишь после своего ухода.

Кстати, и его, Буркова, смерть кажется некоторым тоже неожиданной и странной. Воистину, дворник всюду видит мусор, врач – больных, а юрист – нарушение законов. Ну, а читатель получает для щекотания нервов очередной детектив, что полностью в духе времени.



Вот только очень сомнительно, что вызываемые такими публикациями чувства имеют хотя бы косвенное отношение к творчеству Шукшина. Никак не страх и разлад, не озлобленность и подозрительность желал сеять Василий Макарович в душах тех, кто внимал ему. «*Давайте любить друг друга!*» – восклицал он на разные лады. Давайте понимать, прощать, поддерживать. «*Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирать?!*».

Наверное, я наивна до неприличия, но не стыжусь этого. Я знаю: нас немало – таких. И за нами тоже есть своя правда.

Так вот, когда я впервые узнала из текста Анатолия Заболоцкого, что в последние свои месяцы Василий Макарович прочитал принесённые ему каким-то композитором «Протоколы сионских мудрецов», душа моя содрогнулась: вот где зажечка, вот где начало конца!!! Великое знание приумножает скорби, древними замечено. А их-то у израненного сердца Василия Макаровича было и так предостаточно. По силам ли было ему, и так чувствовавшему, что «разлад на Руси, большой разлад», впустить в себя ещё и документальное подтверждение своих смутных догадок об осознанно направленном на его Родину зле?

«Ну как тебе сказочка? – сверил он свои ощущения с Заболоцким. – Мурашки по спине забегали? Жизненная сказочка – правдивая. Наполовину осуществлённая».

И уже не было, понимаю, покоя в шукшинской душе ни на миг. Явно под воздействием этого чтения писалась им сказка «До третьих петухов». Над завершением её он думал до последнего своего дня. Не её ли, по предположениям газетных «следователей», искали в шукшинской каюте в день его смерти? Слишком уж подозрительно были разбросаны повсюду рукописи. Полагают, что боялись воздействия текс-



та на народ не меньше, чем фильма о Разине, которому так и не дали состояться.

Да полно вам, хочется сказать без запала и злости, но с усталостью. Уж коли не взялся народ наш за серпы и молоты на протяжении последних многострадальных лет, то разве способен он был на такое четверть века назад, когда основная его масса, несмотря на чудовищные обманы и злоупотребления вокруг, жила всё-таки сносно и по-своему неплохо?! Мы попали сегодня, вместе со всеми народами на планете, в столь крутой виток спирали, знаменующий собой переход в новую космическую эру, что даже Шукшин не смог бы подобного предвидеть. Однако многим внешне заступническим силам, вполне понятно, хочется иметь Шукшина в виде знамени в передовых своих рядах, чтобы его именем привлечь на свою сторону мало разбирающийся в политике и вражеских происках народ.

Да, великое знание не всем по силам, и если одних, самых ранимых и чутких, сионские и прочие «протоколы» убивают, то других – озлобляют до желания убивать. Есть и иной путь: полюбить врага своего, понять и простить, но это – слишком высокая, слишком жертвенная ступень развития. С неё видятся и в восторг приводят такие жизненные благолепия, в которых нет места разделению на свет и тень, на добро и зло, на плюсы и минусы. Там жизнь прекрасна во всех своих проявлениях и имеет свой чёткий, вполне, наверное, логичный план развития, никак, увы, не поддающийся переводу на земной утилитарный язык несовершенных человеческих существ.

Как бы нам и на Шукшина-то взглянуть откуда-нибудь оттуда, из поднебесья, божественным оком? А не раздёргивать на цитаты-ниточки его жизненное полотно, сотканное вовсе не из политических намёков, а единственно из попытки осознания нашего краткого появления на планете Земля



для осуществления трудно поддающегося разгадке вышнего замысла.

В этом смысле наиболее любопытной кажется мне юбилейная, от июля этого года, статья Владимира Сигова в «Литературной газете» под названием «Ещё не пели третья петухи». Как подчёркивает в конце автор, анализировавший последнюю сказку Шукшина, «третья петухи, возвешающие рассвет и отступление бесовских сил, ещё не прокричали над Россией». А потому в поисках освобождения от них он советует обратиться к русской идее Шукшина. Предлагая публикацию (отрывок из книги В.Сигова) к печати, Л.Федосеева-Шукшина сказала, что это – самое глубокое исследование из тех, какие ей известны, и что Василию Макаровичу наверняка интересно было бы его прочитать.

Думаю, что особо интересующиеся отыщут книгу либо номер «Литературки», для остальных же кратко обозначим основные мысли статьи. Помимо того, что в ней представлены внутренние связи творчества Достоевского и Шукшина, работа молодого учёного-филолога помогает обострённым взором увидеть события повести. Иван-дурак, отправленный за справкой о том, что он не дурак, «поумнел» именно в том направлении, какого требовало от него «культурное» общество библиотеки: он стал суетливым, шустрым, энергичным и возраждал «что-то делать».

«Однако «дело» никакого отношения к жизни народа не имеет, но всегда мешает жить. «Дело» – это эрзац-жизнь общества, – пишет В.Сигов. – Но этот «деловой синдром» весьма заразен. Об этом пишет Достоевский, предупреждая, что молодость и неопытность могут подчинить человека этому фантому...».

Шукшин, подобно Ивану, тоже должен был «доказывать своё право на место в искусстве, соглашаться с абсурдными правилами игры». К счастью, его не удалось «сбить», он быстро понял, что «суета губит», что среди неё очень вольготно живётся чер-



там, которые «умело используют способности других для осуществления своих разрушительных целей».

«В горестном и бессмысленном путешествии, — цитирую Сигова, — Ивану стало ясно, что он легковерен и бесхитростен. Качества, обеспечивающие ему силу в жизни, стали источником слабостей в соприкосновении с «делом». Его нельзя заставить изменить себе... но можно «охмурить», направить к ложным целям (справка), использовать в своих интересах и даже его руками сеять зло, зная, что раскаяние и осознание придет, но, скорее всего, запоздалое».

Не это ли запоздалое раскаяние и настигает нас теперь, думаешь с содроганием о содеянном на ложных путях развития нашего общества. И о том, что ловко же многих из нас провели тёмные силы, коли возмездие столь тяжко и столь длительно!

И вместе с тем, хоть и неловко в этом сознаться, мне неуютно от такой трактовки Щукшина. То ли душа моя ближе к иным его произведениям, то ли никак не может допустить, что и меня в чём-то кто-то где-то использовал для посева зла, а я и не заметила. Вроде бы явно не названный и к бою с врагами открыто не зовущий, за статьёй этой, тем не менее, тоже ощущается «протокольный» синдром, от которого — «мурашки по спине».

«МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ЖИТЬ»

Вероятно, и осознание исторической данности, в которой суждено прожить жизнь, не каждому по уму. Например, мне. Сразу хочется кого-то обвинить во всех своих бедах, посожалеть о погибших мечтах, поплакаться на плече более сильного и любящего: обидели меня! накажи их!

Но неверно всё это, неверно! Не отчаяние, не досада на судьбу, не растерянность должны рождаться от воздействия высокого искусства (или его толкования), а — упоение не различимой прежде и вдруг обозначившейся гармонией бытия, в котором всё справедливо, всё — по заслугам, всё — для роста



твоего, для взросления души, а никак не для унижения, унижения её.

Я помню, помню такое воздействие Шукшина, и вам оно ведомо. Возьмите хотя бы Алёшу Бесконвойного с его субботней баней, во время которой приходило к нему высокое осознание земной радости в сочетании с полётом духа. Возьмите больного Саню Неверова, который в предсмертные дни взирает на окружающий мир не с печалью невозвратности, а в восторге прозрения. Или Гена Пройдисвет, взявшись развенчивать дядино богоискательство. В его страстный диалог с дядей Гришой Шукшин вложил, вероятно, всю многослойность своих философских воззрений, и среди образных представлений о том, как же всё с нами происходит после смерти, употребил наверняка памятное всем читавшим сравнение:

«Мы, как киноаппараты: живём, а на киноплёнку всё снимается, всё снимается... Как поступил, как подумал, где спроть совести пошёл – всё снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот – тело твоё – хоронят, а плёнку берут и проявляют: смотрят, как ты жил...».

Пристальность разглядывания Шукшиным таинственной связи жизни и смерти мне не раз приходилось подчёркивать в своих публикациях. Потому и в исследованиях других авторов мне хотелось углядеть хотя бы отголосок этой темы.

И она прозвучала в книге Евгения Черносвитова «Пройти по краю», глава из которой лет десять назад была напечатана в «Нашем современнике». По стечению обстоятельств и я в то же время предлагала в этот журнал подобные размышления над прозой Шукшина, но оказалась второй, а потому позднее опубликовала их в журнале «Сибирские огни». Но помню, что столкновение тогда в редакции «Современника» двух исследований на одну тему произвело на меня сильнейшее впечатление: значит, не одна я «крыла» в этом месте, зна-



чит, не исключено, что именно здесь кроется «живая вода» литературы!

Сколько раз при чтении критических работ я ловила себя на мысли, что автор незаметно и вроде бы непреднамеренно уводит мысль свою от собственно Шукшина в сторону личных догадок о жизни, прочитывая написанное искажённым взглядом. И получался у каждого свой Шукшин, никак на него не похожий, мною как читателем не узнаваемый.

И только Черносвитову удалось подтвердить угадываемое мной и чётко обозначить главную суть творческих исканий художника: они кристаллизовались вокруг мыслей о жизни, смерти и бессмертии. Такой подзаголовок и дал автор своей книге. Только с этих позиций и оказалось возможным разглядеть стройную систему шукшинских взглядов, не замутнённых случайной политической и конъюнктурной пепной.

По поводу «киноаппаратов» Черносвитов меня перешёголял, не утаю. Он подметил и цитированием подтвердил, что «в рассуждениях дядя Гриши слышится как бы парадфраз представлений К.Э.Циолковского и Станислава Лемма. Только у Циолковского жизнь подобна работе кинокамеры, а сам человек есть одновременно и кинооператор, и зритель. У Лемма как раз всё наоборот: сначала всё записывается, а потом прокручивается, и возникает иллюзия происходящей жизни человека».

Конечно, это не доказывает творческого общения Шукшина с названными авторами, но и не отрицает вероятности их прочтения им. Хотя Циолковский, знаю по своим запросам в больших библиотеках, в прежние времена был недоступен рядовому читателю, и я могла лишь догадываться, что стояло за его работами с влекущими названиями типа «Нравственность Вселенной».

Теперь многое стало открытым для прочтения, и Черносвитов, врач и философ по профессии, легко оперирует такими



понятиями, которые и ныне многими встречаются в штыки. Так, в рассуждениях об Алёше Бесконвойном он употребляет древнеиндийские религиозные термины:

«Состояние абсолютной отрешённости и высшего блаженства – мокша... в котором само противопоставление жизни и смерти «снимается». Мокша неразрывна с сатьей, то есть с тождеством твоего бытия и истины. Что может быть ещё? Нирвана, то есть угасание, остыивание – смерть в состоянии блаженства или наслаждение в умирании. Славянская душа Алёши... явно противится такому исходу».

Не исключено, что кому-то покажется несоединимым и даже кощунственным такое сопоставление наших славянских ощущений и – чужеземных названий. Но в последнее время всё чаще звучат утверждения о родстве русского языка и санскрита. Может, именно поэтому такое сближение интуитивно кажется мне закономерным и чрезвычайно спасительным в сегодняшнем мире – с его стремлением к национальному и духовному разъединению. Ведь ТАМ, как писал Шукшин, нет между людьми никаких различий, значит, не должно быть их и на земле.

Не вдаваясь ни в собственное, ни в шукшинское понимание христианства, замечу – цитатой из указанной книги, – что оно «внесло в сознание человека представления и о необратимости, и о конечности времени: время стало непрочным, а смерть – страшной благодаря Страшному суду и концу света. Прошлое, настоящее, будущее – одна линия, одно направление, где чем больше «прошлого», тем меньше «будущего».

Не оттого ли появляется и необоримый безрассудный страх смерти (а значит и жизни) у человека, не умеющего принять эту систему координат и не осмеливающегося поискать иную? Василий Макарович, подтверждают многие разбросанные по произведениям строки, не запрещал себе блуждать по философским просторам и выбирал то, к чему искренне лежала его душа. Так, Степан Разин, что было вполне естественно в его время, был язычником, и в его мировоззрение Шукшин погружён, как в родное.



«У язычника, — пишет Черносвитов, — время — как лучи солнца, расходятся и простираются во все стороны. Судьба — круг, охватывающий эти лучи воедино. Один круг — одна жизнь человека, цикл».

Не греет ли и вас такое представление и не улавливаете ли вы в нём отголоски уже упомянутых восточных представлений о круговороте, повторяемости жизни?

Всякий раз, когда мне приходится между строк обозначать своё пристрастие к указанному мировосприятию, я чувствую себя слегка виноватой. Вернее, чувствовала, хотя и знала, что я не одинока. Но во время раздумий над этой статьёй, через Черносвитова, я неожиданно обрела защитника в лице всегда влекшего меня к себе Циолковского.

Оказывается, он однозначно считал, что «земля — колыбель человечества», «временный корабль, на котором оно несётся в бесконечном пространстве вселенной». Нас «ослепляет близость земли», оттого мы и мучаемся, а «значение жизни вселенной, понимание себя как её части, даёт человеку радость и спокойствие». Поэтому каждому необходимо знать, что «уходящего из жизни ожидает непрерывная радость», ибо «космос содержит только радость, довольство и истину».

В таком понимании жизни Циолковский видел «моральный стимул», который послужит «для малодушных утешением, для сильных духом — оправданием бытия». Такая вера — «отрадна». Человек бессмертен, так как он для себя непрерывно живёт одной жизнью — промежутки долгого небытия проходят для него незаметно: мёртвые не имеют времени и получают его только тогда, когда оживают. «Мы всегда жили и всегда будем жить, но каждый раз в новой форме и, разумеется, без памяти о прошедшем».

А вы говорите — эзотерика! Ату её!! Но она — всего лишь взгляд на мир с высоты той вершины, которая возвышается над плоскогорьями и долинами нашей скучной, ограниченной надуманными преградами жизни. И осознавал ли то сам Шукшин или случалось это интуитивно, как чаще и бывает у художников, но то и дело в мыслях своих он взлетал на этот



пик, оставляя земле своё бренное тело. И тянул, и тянет, и будет тянуть нас за собой туда, откуда открывается безмерное пространство любви и слияности душ, имеющих равное происхождение, права и обязанности.

Однако мы по-прежнему живём на земле не как братья...

Читайте Шукшина!

И не скорбите об его смерти, ибо он вкусил «непрерывную радость».

1999 год



РАСПЯТЫЙ

Он шагнул в элитное искусство в крестьянских сапогах и привнёс с собой то, что никак не поддаётся профессиональной расшифровке. Однако именно это неназванное и цепляет зрителя за душу покрепче самых выверенных приёмов мастерства.

Попытаемся приоткрыть завесу над тайной кинематографа Василия Шукшина.

Итут же споткнёмся о то, что существенно отличает этого режиссёра от большинства собратьев по цеху. Он не есть кинематографист в чистом виде. Он изначально, по складу своему, писатель, хотя осваивал две эти профессии параллельно, сам не понимая, в чём его призвание. И сделанное перед смертью признание, что он склонен предпочесть писательское поприще, говорит лишь об элементарной человеческой усталости – он измучился бороться за право явить на свет давно выношенного, распиравшего его изнутри кинношного Степана Разина.

Как образно заметила Н. Толчёнова в книге «Василий Шукшин – его земля и люди», «эти сиамские близнецы – кино и литература – избрали Шукшина своим единственным вместилищем. Они были неразрывны». Именно общий кровоток и предопределял все особенности, все достоинства и недостатки киноработ Шукшина. Во всяком случае, так они виделись традиционной критике.



Свободные от авторитетов авторы, – такие, как В.Горн в книге «Характеры Василия Шукшина», – утверждали: необходимо ввести такое понятие как «искусство Шукшина», в котором неразрывно слиты три его творческие ипостаси.

Критик К.Рудницкий видел, что скромная проза Шукшина как бы «выталкивала» из себя экранные образы, была единственной почвой, на которой они могли возникнуть. Кинорежиссура – прямое и естественное продолжение его собственной прозы. Экран позволял ему договариваться непроизносимое, даже и размышлять в той сфере, где словесная форма слишком определённа и груба. В этом вот смысле режиссёрский опыт Шукшина, пожалуй что, уникален. Другого такого не было».

В самом начале шукшинской карьеры силу его таланта прозорливо угадал Сергей Герасимов, молвивший в частной беседе: «Мы сами не понимаем, что живём в эпоху Шукшина. Погодите, он ещё себя покажет!».

Разглядим поближе, из каких этапов складывалась мимувшая «эпоха», многими не осознаваемая как отдельный «материк» в нашем искусстве.

Нужно отметить, что появление Шукшина-актёра не осталось не замеченным на всех уровнях. Не только простые зрители приняли его как своего посланника, но и образованные ценители лицедейства сняли шапки перед его талантом. Как артист он обладал непостижимым умением не только сохранять естественность в любых ситуациях, писала Н.Толчёнова, «но словно ещё и всё вокруг себя делать гораздо более живым, чем даже сама живая жизнь».

Думается, этот дар привносить с собой на экран особый дышащий мир был бы всеми осознан раньше, доведись Шукшину сразу сыграть в картине значащей, вроде хуциевских «Двух Фёдоров». Однако время показало, что даже слабые фильмы не смогли подмять под себя, нивелировать шукшинскую сущность, неповторимую внезапность его облика. Его



взгляд обжигал глубинной, корневой правдой, вытащенной на свет не ради экрана как такового, не ради заработка, а во имя постижения вопросов вечных.

Знаменитая шукшинская формулировка «*нравственность есть Правда*» в связи с этим высвечивается особо. Впрямую истолкованная правдивость на экране часто обращается в «чернуху», якобы обличающую язвы общества. Однако творимые человеком дела неотделимы от его душевной составляющей. Высоконравственные поступки не может совершать тот, кто лжёт самому себе. И лишь действительно правдивый не избегает обсуждения вопросов о смысле бытия и ценностных ориентирах.

Шукшин – на экране, в прозе ли – «играя» каждого из своих героев, постоянно, по словам Н. Толчёновой, «как бы силился постичь вселенную другого человека». Потому-то и были его персонажи полновесны и полноценны, как целый мир со всеми присущими ему временными и пространственными характеристиками. В отличие от тех, кто берёт материал «словно руками в резиновых перчатках», Шукшин хватал горячую, обжигающую земную суть жизни, видя не только предысторию каждого человека, но и завтрашний его день, а главное – мысленно вписывая его судьбу в судьбы отечества и всего мира.

Резко изменившиеся обстоятельства нашей жизни изменили и людей. Всё реже видны на экране лица актёров глубоких, имеющих за спиной собственный опыт не светской, а народной жизни. О таких, уже ушедших ныне, Шукшин в своё время говорил: «*Я чувствую в них запас человеческой памяти, переходящей из поколения в поколение*».

Увы, разрыв между творческими поколениями теперь вряд ли восстановим. Тем с большим восхищением будут наши потомки вглядываться в лица тех, кто составил славу российского советского кинематографа.



Но такого лица, какое было на экране у Шукшина, не было ни у кого. Достаточно вспомнить эпизод в фильме Герасимова «У озера», где он слушает читаемую героиней Белохвостиковой поэму «Скифы». Перед нами за несколько минут проходит не только весь спектр доступных человеку мыслей и переживаний, судьба не только персонажа, но и история страны, отразившаяся в глазах актёра.

Тоныше всех высказалась об облике Шукшина уже упомянутая Н. Толчёнова: «Лицо, отражавшее напряжённую внутреннюю работу, всё время менялось, что и составляло, пожалуй, главную примету, главную особенность Шукшина, потому что никакой иной красоты, кроме духовной, внутренней, у него как бы и не было...»

Красота человеческая как синоним напряжённой внутренней работы, отражённой на лице, – это замечание достаточно того, чтобы над ним задумались режиссёры и те, кто помогает им выискивать актёров для будущих картин.

Вряд ли сам Шукшин оценивал свою внешность с этой точки зрения. Он был постоянно погруждённым в себя либо во «вселенную» собеседника. Но актёров для своих фильмов он подбирал именно по этим, родственным ему признакам. Так, отвечая как-то на вопросы Г. Кожуховой, он заметил:

«Отдельно артиста от человека нету, это всегда вместе: насколько глубок, интересен человек, настолько он интересный артист... В жизни – с возрастом – начинаешь понимать силу человека постоянно думающего. Это огромная сила, покоряющая. Всё гибнет: молодость, обаяние, страсти – всё стареет и разрушается. Мысль не гибнет, и прекрасен человек, который несёт её через жизнь».

И ещё рассуждал:

«Что так особенно дорого в человеке? Ум? Но много умных, с которыми – тяжело, я не знаю, почему, но тяжело, неловко. Много умных, с которыми – хорошо бы не говорить, а прочитать их статьи, и дело с концом. И вот есть



люди – с ними интересно. И с искусством их – интересно же. Я опять о том же: о ценности личности в искусстве».

Если говорить о самом Шукшине, то он как личность в искусстве пока недооценён. Потому так радостно обращаться к авторам, которые внесли свой посильный вклад в его расшифровку. Большинство из них брались за осмысление феномена Шукшина не по долгу службы, а по требованию души, родственной шукшинской. И потому разглядели и донесли до читателя такие моменты, которые навсегда останутся невнятными для человека с душой «параллельной».

Последний термин породил сам Василий Макарович во время дискуссии по «Калине красной» в редакции журнала «Искусство кино». Как вспоминал Сергей Герасимов, после этого обсуждения Шукшин был счастлив, потому что понимал: в этом фильме он «выразил себя с недостижимой прежде полнотой и красотой». И то, что в разговоре явно обозначились и противоположные точки зрения, уже не убивало его, а наоборот, придавало весомость его собственной и творческой, и человеческой позиции.

«Я не имею права сказать, – заявил тогда Шукшин, – что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чём сокровенном у другого».

Из этих слов понятно, что Шукшин сознавал и философски принимал разнообразие творческих взглядов в мире искусства, однако всё более уверенно начинал чувствовать правомочность и собственной, отличной от многих точки зрения. Его многолетнее пребывание в *«позиции бойца, пока не расшифрованного»* (в чём он сознался в своём последнем интервью для «Литературной газеты») уже подходило к концу, и он мог бы, наконец, заявить о себе во весь голос.

Конечно, это был бы «Разин», имевший в своей кинолитературной основе всё для полноценной демонстрации всех



творческих граней этого сибирского самородка. Но судьба распорядилась иначе. И остаётся лишь анализировать те пути, которыми шёл этот автор к своей славе, к народной любви и памяти.

Особенности его натуры – внешне колючей и закрытой от окружающих, а внутренне ранимой и плачущей о других – долго не давали ему проявить свои дарования в том неповторимом единстве, какое случилось в «Печках-лавочках» и особенно в «Калине красной». Если бы он отважился в своём дипломном фильме «Из Лебяжьего сообщают» встать перед камерой сам и от собственного имени-лица транслировать то, о чём болит его сердце, то путь к вершине успеха был бы короче и бескровней. Однако он передоверил свой голос перспективному, как показали годы, актёру Леониду Куравлёву, который по молодости ещё не нёс необходимого запаса человеческого опыта, столь важного для перевода шукшинских сценарных персонажей на экран.

И развитие художника пошло окольным путём. Хотя несомненно бесценны первые три его режиссёрские – «двуипостасные» – работы, которые возвращали мастера и зафиксировали на экране и на бумаге его сердечную манту в поисках самого себя. Впрочем, муки эти были скрыты от коллег из боязни непонимания, насмешек, подножек. В пору, когда все были увлечены формальными новациями Тарковского и других талантливых молодых, Шукшин намеренно оказался в стороне от киномоды и, учась у многих, умудрился никому не подражать.

Его первый полнометражный фильм «Живёт такой парень» сделан нарочито просто, понятно, без претензий на новаторство, драматургия в нём обыкновенная, логика развития событий вполне предсказуемая, со стороны камеры – никаких эффектов. Как писал К.Рудницкий в одном из номеров «Искусства кино», «Форма дышала невинной кротостью. Автор притворялся, якобы его единственное желание – вы-



глядеть не хуже людей. Кто знал Шукшина, тот догадывался, сколь напускное это смиление».

Да, это была пора его «потаённости» в ожидании того часа, когда за ним тоже будет-таки признано право на искусство. Но до времени эту свою устремлённость ему надлежало прятать за простотой и придурковатостью – прямо как литературному герою его сказки «До третьих петухов» Ивану путешествовать за справкой о том, что он не дурак. И Шукшин покорно и просчитанно делал это, тайно двигая желваками.

Пожалуй, и для него самого был неожиданным успех его первой режиссёрской работы. Награда Венецианского фестиваля, отзвуки в прессе. Уже тогда, на волне этой победы, он стал предо誓щать своего «Разина», делать к нему первые исследовательские, литературные и режиссёрские разработки. Однако требовалось время, чтобы вызрела подходящая ситуация в среде киноруководства и дозрела душа художника, бившегося над разгадкой характера русского мужика.

Впоследствии времененная отдалённость от первого фильма позволила автору самому пренебрежительно сказать о нём: «*Больно благополучный!*» Литературный и жизненный опыт всё более подводили к выводу о неоднозначности и трагичности человеческих судеб. Общая кровеносная система живших в нём «сиамских близнецов» взаимообогащала обе плодоносившие ветви его творчества.

И тогда явился на свет «Ваш сын и брат», фильм, про который сразу по его выходу Г. Чухрай написал в «Комсомольской правде»:

«Мне как режиссёру понятно, что картина эта в области формы является картиной новаторской. Фильм Шукшина противостоит многочисленным картинам, авторы которых из кожи вон лезут, чтобы быть оригинальными и, что теперь особенно модно, загадочно-непонятными. Я за поиски новых форм. Но я твёрдо знаю, что новая форма нужна художнику для того, чтобы быть понятным. Поиски новых форм, без нового содержания, без новой мысли, которую стремишься выразить, есть не что иное, как стиляжничество от искусства, оно внушает мне глубочайшее отвращение».



Уже после смерти Шукшина К.Рудницкий, анализируя всё его творчество, подчёркивал, что в этом фильме он впервые «заговорил собственным киноязыком», что эта картина «настроена Шукшиным по камертону его собственной прозы. Тут режиссёр Шукшин гораздо ближе к писателю Шукшину». Согласимся с этим и мы, ведь во время просмотра картины и впрямь «впечатление такое, будто Шукшин растворил себя во всех ролях, мужских и женских, старых и молодых, будто он затаился в подтексте каждой реплики, и самый ритм её, окраска, звучание предопределены Шукшиным».

Ошибочным было бы посчитать, что это ощущение рождено более точным подбором собственных рассказов, взятых для экранизации. Ведь и в фильме «Живёт такой парень» литературная основа тоже была авторская, и всё было во власти режиссёра, однако картина всё-таки оставляет после себя ощущение некоторой поверхности, лёгкости чувств, свойственной чисто комедийному жанру.

Но в том-то и секрет, что Шукшин не был по сути своей весельчаком, стремившимся лукаво и легко рассказывать истории о вполне благополучных людях. И если это где-то за ним замечалось, то свидетельствовало лишь о малом писательском либо режиссёрском опыте. Ему ещё предстояло на всех своих путях отыскать собственные средства для адекватного высказывания своих чувств и тревог.

Он попытался начать нащупывать себя и в первом фильме – в сцене сватовства двух пожилых стесняющихся своего одиночества людей. Эпизод этот, в отличие от несбремительной весёлости предыдущих сцен, наряду с нежностью и безмерной любовью к героям, пронизан тончайшей печалью и жаждой более глубокого проникновения в эти обнажившиеся души. Однако общее сюжетное течение, собравшее в облике Пашки Колокольникова героев из нескольких рассказов и звавшее вперёд, к совершению им маленьких жизненных подвигов, не дало возможности более задерживаться ни в



этой ситуации, ни в обнаруженной вдруг тональности, милой авторскому сердцу.

Тем с большим наслаждением и исследовательским интересом Шукшин предался этому занятию во втором фильме. Он уже не хлопочет излишне о сюжете, стремясь увлечь за собой зрителей, а неторопливо открывает им свою душу в надежде, что будет правильно истолкован и обретёт в их лице единомышленников. Он не боится потерять тех, которые с «параллельной душой», он делает ставку на не столь многочисленных, но – живых душою людей, знающих истинную цену мирским радостям.

Эту свою «самость» Шукшин заявляет широко и открыто уже с начальных кадров фильма «Ваш сын и брат». В отличие от первой работы, где изумительная природа Алтая служила всё-таки лишь фоном, на котором развёртывались события, здесь она вступает в кадр мощно и самостоятельно. Шукшин снимал ледоход на широкой сибирской реке, сосульки, тающие под весенним солнцем, корову, жующую сено, лающую собачонку, поросёнка, козлят, кошку... Он никуда не торопился и как будто вовсе не намеревался «завязывать сюжет». Он знал себе развёртывал на экране весеннюю деревенскую сюиту. Три старушки сидели на завалинке и мирно беседовали. Разъярённая жена с поленом в руке встречала пьяного мужа. Девушки гуляли и пели на берегу реки, и Шукшин заставлял оператора Валерия Гинзбурга крупным планом показать их ноги в новеньких блестящих ботинках. Старик сидел, жмурясь на солнце, и блаженно покуривал, другие старики о чём-то рассуждали, ещё одного старика тут же стриг деревенский парикмахер, поблизости выбивали ковры, чистили одежду...

Жизнь шла, как шла. И только после того, как Шукшин, всласть налюбовался её неспешным, обыденным и уютным ходом, он вдруг показывал нам Степана Воеводина, героя рассказа «Стёпка», сбежавшего из тюрьмы, не досидев нескольких месяцев. Несмотря на всю абсурдность его поступ-



ка, именно благодаря эпическим образам природы зрителю становилась понятна непереносимая тоска героя по родным местам, невозможность жить далее, не хлебнув воздуха родины.

Задумываясь над этим, критик И.Золотусский писал, подспудно делая, конечно же, намёк на «графоманский» кинематограф:

«Для Шукшина простор не пейзаж, не картина, не русские виды, оттеняющие национальную принадлежность происходящего, а природа его сознания, чувство необъятности человека, который духовно, внутренне равновелик породившей его земле. И всегда этот простор что-то д о г о - в а р и в а е т , что-то такое объясняет в герое, чего сам он не хочет или не может объяснить. Да и автор за него не берётся этого делать».

«Договаривающая» за автора и за персонажей природа становится героем всех последующих фильмов Шукшина, будь то «Странные люди» или особенно «Печки-лавочки» и «Калина красная». Природа, равновеликая человеку, его живая сестра, во всём емуозвучная, поддерживающая в трудную минуту, блаженно отдыхающая вместе с ним после праведных трудов. Вспомним для примера босого и умиротворённого Ивана Растиоргуева, молча сидящего после сенокоса на тёплой родной земле, или Егора Прокудина у « заневесившихся» берёз с его незамысловатым монологом, покорившим «параллельные» души.

Вместе с ролью природы критик К.Рудницкий выделял и ещё одну чрезвычайно важную для Шукшина тему – тему застолья. Режиссёр нащупал её в картине «Ваш сын и брат» и придал разливанному веселью по поводу ложного возвращения Стёпки всё более нарастающее трагичное звучание. В «Калине красной» настороженное застолье собирается для знакомства Любинах односельчан с освободившимся Егором Прокудиным. В «Печках-лавочках» широко и вольно гуляют и пляшут по поводу отъезда главного героя на отдых «к югу». Гуляют так долго и упорно, что начинает казаться, будто режиссёр и не собирается никуда более двигать сюжет картины.



Что-то было в этих моментах Шукшину очень важно, заставляло вглядываться в детали, взгляды, жесты, не упускать ни единой подробности; и песни на гуляньях звучали не из коллекций фольклористов, а банальные, пьяные, выхолощенные. Но он давал этому всему вторую жизнь, очищал от насного, обнаруживал на лицах власть поэзии.

«Суть в том, – размышлял по этому поводу К.Рудницкий, – что едва лишь песня начинает звучать, каждый от себя, своим воображением тотчас дополняет и на свой лад дорисовывает картины, которые она с собой приносит. Пока песня поётся, все эти люди – другие».

И мы, зрители, при этом – другие, погружённые в самые тайные уголки своей души. И сам Шукшин в эти моменты не режиссёр-ремесленник, каких множество, а исследователь человеческих «вселенных», встретившихся ему на пути. И ему уже не важно, что он в этом замедленном взглядывании проходит мимо многих возможностей, которые не упустил бы опытный режиссёр.

После успеха картины «Живёт такой парень», где он доказал знание необходимых профессиональных приёмов, Шукшин открыто начинает пренебрегать правилами ремесла. Он готов нарушить целое «во имя частного... жертвуя иной раз динамикой во имя статики, ему необходимой». В картине «Ваш сын и брат» «ему не нужна была «пятёрка по мастерству». Ему важно было выразить себя и своё» – таков справедливый вывод К.Рудницкого.

Им же отмечен и ещё один важный элемент киноязыка Василия Макаровича Шукшина.

Во время застолья и плясок в «Печках-лавочках» вдруг появляется фигура древнего старика, который неподвижно сидит на фоне белой печки, с запавшими глазами, с руками вечного труженика, и слушает, то ли внимательно, то ли безразлично, нынешние песни.

«Такие вот внезапные, сразу и навсегда врезающиеся в память кадры возникали в фильмах Шукшина как будто в стороне от их главного движения, поодаль от сюжета. Логике сценария этот старик не нужен. Полноте жизни, естественности дыхания фильма он абсолютно необходим».



Именно это, как теперь понятно, и придавало его картинам привкус подлинности. Распахнутые им во все стороны двери выводили из коридора сюжета «прямо на простор никак не организованного своееволия правды».

Изучая записи Шукшина, убеждаешься, что подобные изыскания в кино были им выношены и глубоко продуманы. Он прямо заявлял, что относится к сюжету «очень неодобрительно».

«Я так полагаю, что сюжет несёт мораль – непременно: раз история замкнута, раз она для чего-то рассказана и завершена, значит, автор преследует какую-то цель, а цель такого рода: не делайте так, а делайте эдак... Меня поучения в искусстве очень настораживают».

Поддержкой был Шукшину и глубоко изученный им Достоевский, у которого, по мнению режиссёра, сюжет служил только поводом – *«поводом, чтобы начать разговор. Потом повод исчезал, а начинала говорить душа, мудрость, ум, чувство»*. А поскольку мы договорились, что кино и литература жили в Шукшине неразрывно, то это высказывание одинаково применимо к любой области его деятельности.

Однако эти интуитивные догадки не уберегли молодого режиссёра от сокрушительного провала третьего фильма «Странные люди». Сам Шукшин причину видел в том, что картина состоит из новелл, и сожалел, что не сделал всех героев жителями одной деревни, как было во втором фильме.

Однако «Ваш сын и брат» тоже отчётливо делится на куски-рассказы («Стёпка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал»), хотя и нанизан, вроде бы, на одну живую нитку. После первой новеллы зрителю приходится перестраиваться даже интонационно – когда действие уходит в город и меняет трагическую тональность на комедийную.

И всё-таки. Неминуемо сбиваясь с ритма в этом переходе от одной новеллы к другой и неотвратимо теряя набранную фильмом высоту, Шукшин знает, куда клонит, и свои цели из



виду не выпускает. Когда же городская жизнь одного из братьев выстраивается перед нами заносчивой, высокомерной антitezой деревне, тогда оборванные нити вновь связывают-ся, и картина обретает ровное дыхание.

К.Рудницкий считал, это потому, что «эмоциональный толчок, удар, который наносит зрителям первая новелла, обладает силой, прокатывающейся через всю картину. Начало фильма «Ваш сын и брат» как бы эмоционально перекрывает и подчиняет себе всё его дальнейшее развитие». И это действительно так. Тревожное ожидание развязки держит чуткого зрителя в напряжении всю картину.

В неудаче же «Странных людей» лучше всех разобрался, на мой взгляд, сам автор. Беседуя с журналистом Л.Ягунковой, он говорил:

«События-то могут быть самые заурядные, ничем особо не примечательные, но они должны постоянно сопутствовать главной мысли, работать на неё все полтора часа экранного времени. Я изменил этому принципу в «Странных людях» – и фильм не получился, развалился на куски...»

«Моё предупреждение в титрах, что это «три рассказа», не сработало. Его пропустили, скользнули глазом – и забыли. Зритель настроился на определённую историю, на определённых людей. Но едва он привык к героям первой новеллы, приготовился вникнуть во всё происходящее с ними, новелла кончилась... Это было неожиданностью. Так возникло раздражение. Пока он собрался с чувствами для нового знакомства – прошла добрая половина второй новеллы. Зрители не получили разбега для знакомства с героями. В литературе такой разбег гораздо меньше... В этом отношении «Роковой выстрел» пострадал больше всего».

На примере экранизации этого рассказа Шукшин убедился, насколько природа кинематографа усиливает краски литературного образа. Актёр Евгений Лебедев талантливо передал зафиксированное в слове состояние Бронькиной души. «*А в результате – «клиническая картина навязчивого состо-*



яния». Почему? Потому, пишет Шукшин, что на экране всё преображается «не по прихоти кинорежиссёра, а по законам того искусства, в которое, как в новую жизнь, перешли литературные герои».

Он знал уже, что при переводе на киноязык его литературный сценарий о Разине претерпит грандиозные изменения, и сцены насилия и жестокости, выписанные первом, преобразятся ровно настолько, чтобы не шокировать зрителя, но всё же дать ему полное представление о грандиозности и неудержимости народного бунта. Однако боязнь реальных общественных волнений, вызревавших в Советском Союзе, настолько парализовала чиновников от кино, что они не способны были внимать здравым и убедительным доводам серьёзного писателя.

Шукшин был убеждён, что для наиболее плодотворной работы все члены киногруппы должны знать о будущем герое намного больше того, что способен вместить режиссёрский сценарий и даже сам фильм. Ради этого он исписал сотни страниц, так испугавшие начальство. Чиновникам непонятно было, как режиссёр и сценарист могут действовать сообща, словно «заговорщики», как сценарист Шукшин «умрёт» в Шукшине-режиссёре. Нужна была его реальная физическая смерть, чтобы крик его о необходимости доверия к создателю фильма с самых первых шагов работы над картиной был услышен…

Однако «завещанное» прежним чиновничеством требование писать покороче и так, «чтобы всё было видно», жив и по сей день. Бесчисленные сериалы записываются и приветствуются уже мёртво рождёнными, и нынешние «творцы» вполне удовлетворились бы тем образчиком, против которого восставал в своё время Шукшин, защищая «Разина»:

«Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских»… Вот и получается, что более



или менее смылённая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий».

Для Шукшина любая сторона его творчества была священнодействием, он не позволял себе халтуры ни в чём. И если бы от него добились всё-таки ответа на вопрос о различии слова, сказанного им в прозе, в кино, в театре, он сказал бы, по Толчёновой, что «могущество слова везде одно и то же, если содержит в себе мысль и поэзию. Если умеет смеяться и плакать. Если видит жизнь и поднимается над жизнью...»

Но именно потому, что у каждого вида искусства своя специфика, «истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература». К этому выводу приходит Шукшин, анализируя своих «Странных людей», и открыто заявляет:

«Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать только для кино... Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссёра и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться...»

О том, как умело и легко в дальнейшем «приспособливал» Шукшин свою кинолитературу к требованиям съёмочного процесса, оставили свидетельства многие журналисты, присутствовавшие при рождении «Печек-лавочек» и «Калины красной». Хотя не будем забывать и то, что именно в этих картинах он позволил себе стать исполнителем главных ролей, чем заведомо и полностью подчинил себе творческий результат.

Однако всё-таки не ухищрения чисто профессионального толка вывели Шукшина в разряд самых значимых фигур в народной памяти. Было в его творческом облике нечто такое, что подкупало и обезоруживало само по себе, улавливаемое на подсознательном уровне.



Каждый из писавших о Шукшине по-своему пытался разгадать эту тайну.

«Есть люди одной нации – духовной», – метко сформулировал Георгий Бурков, объясняя приятие одними и непринятие другими всего, что делалось этим человеком. Именно те, кто не входил в эту «нацию» и боялся всяческих серьёзных раздумий над смыслом жизни, и заставили из уже отснятой «Калины красной» вырезать из монологов Прокудина такие фразы, как «*Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирать?!*»

А Шукшин весь был замешан на рефлексии, на попытках разобраться в вечных вопросах в применении к себе и окружающим. И всё, над чем бились, мучились, плакали его герои – в кино или литературе, не имеет значения, – это были его собственные мысли, верования, страдания. По-актёрски надевая на себя чужую личину, он тут же преображался и начинал говорить голосом всякого, кто так или иначе задел его творческую фантазию. Причём, если постижение сути приходило не сразу, то он вновь и вновь возвращался к терзающей теме и проигрывал её в новых обстоятельствах, с новыми героями, оставаясь в основе всё тем же единственным Василием Макаровичем Шукшиным.

Сам он своё литературное творчество охарактеризовал однозначно: «*Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер*».

Роман жизни Шукшина включает в себя не только романы и рассказы как таковые, но и пьесы, сценарии, фильмы, актёрские его работы. В каждом из этих штрихов к его портрету, и творческому, и человеческому, бьётся частица его сердца, надорванного в попытке до конца понять, «*что же это такое было – жил человек?*»

Вряд ли какой-либо другой посып, кроме отчаянной надежды на бессмертие, на «*билетик на второй сеанс*», мог быть воспринят живыми душами столь единогласно. Причём



чаще всего он и не обозначается открыто, а прячется за понятными всяческими думами о внуках, об окружающей красоте, о делах рук человеческих, славных и не очень. Но все без исключения шукшинские герои где-то глубоко внутри маются одними и теми же вопросами, и этот высокий смысл происходящего с ними у Шукшина всегда идёт вторым планом, подспудно.

Писатель Глеб Горышин, достаточно хорошо знавший Шукшина, так обрисовывал его художнические особенности:

«Он писатель «закодированный», его надо заново читать и читать. Все его герои – это он сам, его муки и мысли, мы с ним, и с ними, проходим этапы становления духа, мучаемся потребностью вершить над собою нравственный суд; и все рассказы – это главы огромного романа, романа о жизни его, шукшинского духа, о его становлении и как личности, и как писателя».

Утверждая через своих героев, что «*бездны духа есть не только у городских и образованных*», Шукшин вновь и вновь отвечал на мучительные вопросы и вновь сомневался, глянув в глаза жизни. И тогда снова находил погрешности в своих строках, и снова делал дело в надежде достичь недостижимого совершенства.

Отвечая невидимым оппонентам, весомо записывал свои разъяснения В.Горн:

«Повторяемость его героев и характеров, эпизодов и образов, ситуаций и идей, конфликтов и сюжетов свидетельствует не о слабости творческой манеры, а об устойчивости индивидуального стиля. Всё это надо учитывать критике, пытающейся понять, что же такое «искусство Шукшина».

Он убеждённо заявлял, что прозу Василия Шукшина «необходимо рассматривать как качественно новое эстетически целостное повествование. Соответственно о Шукшине необходимо говорить не как об авторе отдельных рассказов и повестей, а как о писателе, создавшем внутренне целостный художественный мир. Между отдельными произведениями Шукшина существует органическая связь, в результате чего их совокупность образует единое целое, которое в свою очередь означает гораздо больше, чем сумма отдельных элементов».



Добавим ещё раз, что точно так же дело обстоит со всеми гранями его творчества. Его художественный мир, по сути, являет собою синтез нескольких искусств, равновеликий самой жизни и потому столь достоверный и не подвластный разрушению. В центре его – человек с его душою, и совсем не важно, с помощью каких средств он оживляется и переходит в статус типологического героя.

Здесь уместно вспомнить выступление Василия Макаровича на Вологодской земле во время съёмок «Калины красной», те строки, где он говорит, что *«борьба за человека никогда не кончается. Не наступает никогда, не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. До самого последнего момента можно сделать. Всё равно как врачи относятся к больному, так, наверное, художники, и в целом всё творчество, к человеческой душе, к человеческой жизни обязаны и должны относиться»*.

Именно этим Шукшин и занимался: непрестанно менял фокус, точку зрения, крупность плана, заново наводил на резкость, пытаясь врачевать свою и чужую душу. Эволюция его как писателя и человека целиком предстала перед нашими глазами. А мы, по словам поэта Ольги Фокиной, «не видели, не слышали, на что идёт Взваливший наши тяжести на свой хребет... Поклажистый? Поклажистей другого нет!»

Вполне предсказуемо, что притягательность сочинённого Шукшиным в связи с его преждевременным уходом должна была усилиться. И это было бы отрадное явление, если бы оно коснулось лишь отряда читателей. Доступный каждому в слове, Шукшин и сегодня рождается заново, и будет рождаться с каждым новым его прочтением. И тут каждый волен понимать его сегодня так, а завтра – иначе, сообразно эволюции собственной души.



Тревожным представляется вопрос экранизаций Шукшина. Их насчитывается немало, и практически ни одна не увенчалась успехом.

Припомним, что даже к самоэкранализации Василий Маркович относился чрезвычайно требовательно, и, в конце концов, он решил, что «*не может быть прямого альянса с литературой на съёмочной площадке. Кино – это кино*». Но прежде чем прийти к такому выводу, он тщательным образом анализировал отличие текста писательского от сценаристского. Он даже написал статью «Средства литературы и средства кино», в которой на примере толстовского рассказа «Три смерти» доказывал невозможность и ненужность перевода его на киноязык.

Одной из главных в статье была мысль о том, что восприятие любых сцен в литературе проходит при активном посредничестве писателя, который может не только впрямую обратиться к читателю, но и интонационно настроить его на определённое отношение ко всем происходящим событиям, ко всем поступкам героев.

К тому же, подхватывал Шукшина критик Юрий Богомолов, Толстой, описывая движение кареты с барыней, отнюдь не изображает действительность, а лишь «выражает впечатление. Конкретность впечатления достигается не только посредством точных внешних примет (параллельные следы, известковая пыль), сколько благодаря упругому, плавному ритму самой фразы. Речевой оборот с его ритмическим рисунком, с его интонационной основой – здесь своего рода модель, образ движения».

Подчеркнём: ощущение движения кареты в читательском сознании рождается не столько от зримых деталей и картин, сколько от особого словесного строя, от его музыки. А потому, делает вывод Шукшин, «*как ни изворачивайся – залез под карету, снимай самые колёса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу... – такого движения, какое всем нутром ощущается в рассказе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись*



Нечто похожее, увы, и случается с большинством режиссёров, берущихся за экranизацию и не умеющих сделать избранный текст своим. Да и возможно ли это в принципе?

«Что мы делаем, когда экranизируем произведение литературы? – задаётся вопросом Шукшин. – Мы мучаемся, добиваясь, чтоб было как у писателя, потому что у писателя – хорошо. У писателя хорошо, потому что он та к думает и чувствует. Даже если мы найдём средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату... мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны та к же думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя «под автора». Бывает – похоже. Но пропадает почти всё, пропадает живое тепло первозданности, потому что для нас всё это – не наше, не своё».

И тут решающую роль играют отнюдь не заявления отважных режиссёров о духовной близости с избранным писателем, не родство мыслей и чувств, а что-то гораздо более глубинное и не выражимое словами.

Общие студенческие с Шукшиным годы, совместная работа над сценарием по его киноповести «Брат мой» – даже это не сделало снятый в своё время режиссёром Валентином Виноградовым фильм «Земляки» явлением искусства. В нём тоже, как в шукшинских фильмах, есть картины природы, но – лубочные, тоже есть страсти, но – наигранные. И ничем более, как ролью личности в искусстве, размерами её этого не объяснить. Ведь если перечитать эту киноповесть и представить её на экране в шукшинской подаче, с ним же и в главной роли, то всё становится очевидным.

О трагической невозможности замены говорит в своей книге Н. Толченова:

«Причудливо – то весело, то грустно – льётся неповторимая мелодия жизни, какую у Шукшина создают и особая, гармонически слаженная манера письма, и полное мысли течение сюжета, и ритмы чередования то



радостных, то печальных эпизодов, и, наконец, особое влияние оказывает та незаметная авторская режиссура, то скрытое присутствие художника, который либо усиливает, либо ослабляет звучание мелодии, меняет её тон и настроение...

Можно ли передать, как з в у ч и т э т а ж и з н ь, вся многоголосая её музыка в эпизоде, когда влюбившаяся Варя рано утром прибегает в дом братьев, чтобы по-соседски прибраться и покормить их... Шукшин подсказывает совсем коротко, каково это для человека: «На крыльце опять выскоцил счастливый Сеня... Пробежал по двору, набрал дров, снова исчез в избе... А над деревней, над полями вставало солнце....».

В плохой экранизации может внешне присутствовать всё, что наличествовало в тексте у автора, но при этом будет отсутствовать тот дух, которым было живо литературное произведение. Это случается, когда, по словам Тынянова, сюжет подменяется фабулой, когда, по размышлениям Шукшина, глубинный рассказ о героях превращается в констатацию их действий, когда наличествует только драматическое начало и утеряно эпическое звено повествования, потаённо свойственное Шукшину в особой степени.

Не избежала неудачи в экранизации Шукшина и режиссёр Лидия Боброва с её фильмом «Верую!». Уловившая шукшинскую силу в изображении природы, она заставила оператора работать на родине писателя, на Алтае – в Сростках, на горе Пикет, откуда открываются вынимающие душу дали. Она захватила и томящий сердце мощный ледоход, и другие шукшинские приметы жизни. Она и главного актёра выбирала по явной схожести с обликом Василия Макаровича, делая на это особую ставку.

Однако фильм не спасли ни назойливая привязка событий к нашему времени – в виде мозолящего глаза настенного календаря, ни модная православная агитация через молодожёнов, крестящихся под разрушенными сводами, ни откровенная попытка «перепеть» традиционное для фильмов Шукшина застолье с его распахнутыми настежь душами. Даже настоящие далёкие горы, на фоне которых разворачивалось действие, выглядели нарисованным задником. Даже мощней-



ший монолог пьяного попа в защиту прогресса и многогранности жизни, вызывавший при чтении рассказа «Верую!» комок в горле, на экране не рождал ничего, кроме неловкости.

Пытаясь разобраться в подобных несоответствиях, Шукшин когда-то писал:

«Писатель подчас не понимает, что одно и то же слово, то самое, которое он отстоял в нелёгкой борьбе с режиссёром, трижды будет звучать с разным значением, если его произнесут три разных актёра. Это понимает режиссёр. Зато режиссёр часто не чувствует, что слово – образ. Такого режиссёра всегда подстерегает опасность схематично определить явление, только назвать событие или предмет».

Таким нередко получается результат экranизации у студентов, ещё не умеющих растворяться без оглядки в чужом мировосприятии. Им кажется, что достаточно соблюсти сюжет и вытянуть из текста злободневную составляющую, чтобы она сама договорила за них всё остальное. Однако «литература – это всё же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высокого нравственного порядка», был убеждён Шукшин. Это равно применимо и к разговору о кино.

Разительным исключением в истории нашего кинематографа был фильм, по-настоящему достойный памяти Шукшина и не случайно получивший в своё время Государственную премию СССР. Это картина режиссёров Рениты и Юрия Григорьевых «Праздники детства», снятая по мотивам детских рассказов писателя. Разговор о причинах её успеха занял бы слишком много места, потому остановимся лишь на нескольких моментах.

Главное – это принадлежность авторов к одному с Шукшиным поколению, опалённому в детстве войной, помнящему, что такое голод и холод, сиротство детей и вдовство их матерей, помнящему скорбь страны, лежащей в руинах, и тихую бесслёзную радость от долгожданной Победы. Именно живая память о минувшей войне стала наивысшей точкой от-



счета в работе над фильмом: съемки начались с эпизода проводов мужиков на фронт, и всё дальнейшее действие картины мерялось этим градусом человеческих скорбей. С такой высоты и простые праздники детства вроде истопленной печи, сваренной картошки или родившегося телёнка казались и всегда будут казаться событиями мирового масштаба. Именно такими, какими ощущал их Шукшин и какими завещал нам.

В «Праздниках детства» есть то, что Шукшин приветствовал в первую очередь – «позиция художника». Только при полном совпадении литературной основы и режиссуры как выражения собственного взгляда на жизнь возможно появление произведения Искусства. Его всегда отличает то, что *«подробность здесь не деталь быта, а малоуловимое движение души героя, а если быт, тем не менее, возникает как подробность, то цель его служебная, попутная, вторичная»*.

Непоколебимая приверженность Шукшина тезису о том, что предметом искусства является только душа человеческая, высвечивала особым светом все его взгляды на кинопроцесс. Можно солгать в бытовых деталях и не быть разоблачённым, считал он, но ложь, рассказалую о жизни души, непременно обнаружит другая, внимающая душа, а потому не поверит произведению в целом. Вместе с тем, *«нет высшего наслаждения в искусстве, чем наслаждение правдой жизни»*.

Он жаждал правды в игровом кинематографе в той мере, в какой может её преподносить только хроника, *«которая год от года набирает высоту и как документ, и как искусство»*. Он утверждал, что актёру не нужно стремиться быть убедительнее, ярче на экране, потому что этим мы *«вторгаемся в искусством в жизнь»*. Он сам *«всегда чувствовал громадное удовлетворение, когда удавалось пожить в кадре независимо от камеры. Это убеждает, приобретает силу документа... Ть есть через искусство к хронике, через продуманность – к естественности, к непринуждённости, к правде поведения на экране»*.



Любопытно в этом плане воспоминание Юрия Никулина, который долго мучился, запоминая свою роль в фильме «Они сражались за Родину».

«— Чудик ты, чудик. Разве так учат? — сказал ему Шукшин. — Ты прочитай про себя несколько раз, а потом представь всё зрительно. Будто это с тобой было, с тобой произошло».

«Будто это с тобой было...» Такими были игравшие, точнее, жившие в его фильмах профессиональные актёры. Такой была в «Калине красной» актриса из народа Офимья Быстрова в роли матери Егора Прокудина. Таким — не ощущавшим и не создававшим границ между жизнью и искусством — был сам Василий Макарович во всех своих кинематографических ипостасях.

Однако одновременно жила в нём лишь избранным доступная духовная высота, позволявшая утверждать: «Надо быть — над ролью. Как писателю — над материалом».

В таком — сверху — взгляде на наше существование угадывается уже не земной, человеческий, а божественный прищур, позволяющий мерить всё не будничными категориями, но приметами вечности: «что же это такое было — жил человек?»

А в попытке ответить на этот вопрос все творческие средства хороши. Вот почему нет никакого смысла разделять их на кинематографические и литературные, якобы соперничающие в Шукшине друг с другом. Просто этот человек был настолько пронизан высшими смыслами, что не считал необходимым ограничивать себя условностями, более свойственными цеху ремесленников. Когда ты полон доверия к жизни, то её река несёт тебя, не делясь на составляющие потоки и невшая ни в чём опасений.

И как бы он, Василий Макарович, мог притормозить? Разве мог остановить стихию? Разве мог поделить себя на струи и выбрать наиболее звонкую?



Он просто «*пристал, как конь в гору*», подобно своему Прокудину. Потому и перебирал теоретически возможные варианты, потому и примерял их на себя, тайно мечтая об обычном отдыхе.

«*Надо, наверное, прекращать заниматься кинематографом. Для этого нужно осмелеть и утвердиться в мысли, что литература – твоё изначальное и главное дело. Я как-то не могу ещё отважиться...*»

«*Как дальше строить свою жизнь? Охота её использовать...ну, результативнее. Но сейчас такое время, когда я никак не могу понять, что же есть более точный результат? И, может быть, я дорого расплачусь за эту неопределенность...*»

«*Нужно работать! И оставить суету преходящего – кино, пьесы, актёрство, режиссёрство, сценарии. Написать на десять рассказов больше – вот что останется моим капиталом в жизни!*»

«*Большое напряжение отражается и на качестве моей работы – и в кино, и в литературе. Возможно, это только у меня так сложилась судьба, судьба человека, распятого между режиссурой, актёрством, сценариями, драматургией и литературой. Потому-то и решил твёрдо: из всех мук, в которые влюблён, избираю лишь одну литературу. Покину я Москву и вернусь в свой родной край – в Сростки. Там, в Сростках, буду жить и работать».*

Не довелось ему пожить на родине. Но работает он беспрестанно – в нашей памяти, в наших душах.

«*Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как?*»

2011 год



Нина Веселова и Юрий Половников.

Белозерье. 1980 год.

«А вы видели, как работал Шукшин?»



Камера любительская, а разногласия творческие



Вновь я посетил...
Деревня Садовая. 1989 год



Обновляется домик Офимьи Быстровой



ЧУДО ВОСКРЕШЕНИЯ

И

всё-таки даты дисциплинируют. И только ими – такими условными! – рождаются наши земные дела.

Сорок лет прошло с начала тех событий, о которых рассказала я в книге. А душе думалось, что всё – рядом, только руку протяни: и молодость, и надежды, и вера в неизбежные свершения, начертанные по судьбе.

Однако жизнь пролетела, и хромает по дороге совсем рядышком старость, и упований почти ни на что не осталось. Лишь только вера светится слабым огоньком впереди, рождая последние устремления. Вера в то, что все мы встретимся там, за чертой, и всё непременно случится опять, но по-небесному легко, без страданий, и по времени безгранично... Неизбывно всё-таки в нас желание схватить его за руку, ускользающее и ухмыляющееся Время!

Однако даты дисциплинируют. Не будь они придуманы, разве отважилась бы я собрать воедино в душе и в этой книге всё – почти всё, что рождено в моей судьбе неизбывно царствующим в ней Василием Макаровичем. Но на циферблате Вечности роковые сорок. И никуда от этого не деться.

А в тот год, когда неумолимые стрелки приближались к тридцати пяти, я в октябре опять не усидела дома – подняла за собой друзей, и мы снова, в который уж раз, поехали по вологодским местам съёмок «Калины красной».



Но теперь с нами была уже не дешёвая любительская кинокамера, а профессиональная цифровая, дающая, как убеждают, невыразимо прекрасную картинку. Но я-то знала, что едем мы совсем не за этим, не за красочным изображением на экране. И далеко не за тем, чтобы вслед за многими ещё раз зачем-то запечатлеть заросшие быльём точки съёмок знаменитого фильма.

Мы ехали... я ехала тайно от всех в реке Времени вылавливать прошлое. А оно представлялось в облике тех людей, которых я знала и которые видели съёмки «Калины...». Нашими общими усилиями мы непременно должны были сотворить чудо воскрешения.

Но теперь, когда фильм смонтирован, я понимаю, что случилось большее. Не подозревая о том, мы рассказали о сегодняшней России, о её народе, печалих его и нечаянных радостях.

Точнее, рассказывали люди. Сначала улыбались, вспоминая давние съёмки, Шукшина и свою молодость. Потом грустнели, считая прошедшие годы и потери на жизненном пути. Потом темнели лицами от невольного сравнения жизни прошлой и нынешней... Всем так дороги были те ценности, которыми жил народ прежде! И всем хотелось их вернуть.

А рядом незримо стоял, с лютым вниманием слушая наши беседы, Василий Макарович. И задавал иногда свои вопросы. И люди, ничуть не удивляясь, отвечали ему сквозь времена.

Когда я снова и снова вижу на экране эти светящиеся неуловимым светом лица, я всем нутром понимаю и принимаю эту шукшинскую «распятость» между кинематографом и литературой. Никакое слово не способно дарить эту желанную и неистребимую иллюзию присутствия в нашей жизни давно ушедшего человека.

Ещё и потому, что возврат этот надуман, фильм мой тоже, как и книга, называется «Калина горькая». Но о том, что в нём, лучше расскажет экран.



А здесь я предлагаю взглянуться в фотографии, которые по ходу нашей поездки делала Анастасия Астафьевая.

Неожиданным было узнать, что в деревне Садовой тогда, шесть лет назад, уже намеревались делать музей.

Сегодня он работает и называется «Стоп-кадр», и основная его экспозиция посвящена съёмкам «Калины красной». Да и могло ли быть иначе? Как на Новодевичье, как на Алтай, так и в Садовую народ стал ехать и ехать, когда душа просила прикосновения к Шукшину.

Теперь среди прочих и разных туристических маршрутов России значится и этот. Скорее, не из-за паломничества, а из желания выжить в глубинке, о которой так болела Шукшинская душа.

Радоваться ли? Грустить ли, что и Шукшин – на потоке? Жизнь не спросит, она берёт своё и, даже поломанная, хочет длиться и длиться.

Туристам показывают знаменитую баньку, Мериновское озеро с мостками, «дом Байкаловых», дом Офимы Быстро-вой, подвозят к кладбищу, где, среди прочих незнаменитых односельчан, похоронена артистка из народа. Рассказывают, что после смерти Шукшина эта исстрадавшаяся мать до собственной кончины не снимала чёрного платка: она сочла Василия Макаровича своим исчезнувшим сыном и не смогла долго жить после новой утраты...

На кладбище этом, как и на всех повсюду, смиренно и тревожно, «...кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну». И над могилкой Офимы Быстро-вой стоит Василий Макарович Шукшин, неуклонно думая свою неотступную думу: «... был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они её прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа...Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я её понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»



Или он давно уже получил ответы на все свои вопросы?

И только мы, живые, обречены до конца мучиться над тем, что само собой разрешится на небесах?

От тяжестей земных всегда освобождала людей церковь. С сильной или слабенькой верой и надеждой, но все интуитивно тянулись туда, под своды, где гулко, прохладно и боязненно.

И мы испытали все эти чувства, когда в 2008 году с кинокамерой приблизились к церкви Рождества Богородицы за деревней Садовой. Смешанные думы посетили нас тогда, и каждому мыслящему они понятны.

Остались в памяти поросшие травой и деревьями разрушенные стены, свистящий пронизывающий ветер. Есть вещи в мире не восстановимые – это стало особенно ясно там, в глухи, где стойчески доживают свой век немногочисленные русские старики и старухи.

Эта знобящая печаль, думалось, и станет заключительной нотой фильма. И, предполагала я до последнего мига, будет завершающей в этой книге. Но...

Каким наитием я вышла на это, одному Богу известно. Однако я увидела то, что должна была увидеть. И думаю, что создатели простят меня за несанкционированную публикацию нескольких фотографий с сайта Крохино.

Вглядитесь в эти снимки, в эти лица. Никем и ничем не поддержанные, кроме душевного зова, эти светлые наивные люди в июне 2013 года устроили в разрушенной церкви конца восемнадцатого века субботник. И вынесли весь мусор, и расчистили место, чтобы убедиться: фундамент сохранился, и обновлённому зданию будет на чём стоять.

Не стану проводить пафосные параллели, они на виду. Хотя скептиков и циников в вопросах возрождения духа на-



родного найдётся предостаточно. Шукшин в таких случаях всегда настораживался: «Сбивают!»

Но стоит ли прислушиваться к тем, у кого «параллельные души»? Не проще ли каждому честно делать своё маленькое дело? Как призывал шукшинский «человек и гражданин Н.Н.Князев»:

«А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь, никто не ворует, не пьёт, не лодырничает – каждый на своём месте кладёт свой кирпичик в это грандиозное здание...»

Что же касается калины, то она и теперь, как во все века, горчит. Но после увиденных фотографий я с новой уверенностью заявляю: жизнь продолжается! И будет продолжаться. Даже после нас.

2014 год



О ГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	4
ЖИЛ ЧЕЛОВЕК	6
Глава первая. Условия игры	9
Глава вторая. Этот розовый «глобус».....	23
Глава третья. Однажды двадцать лет спустя	49
Глава четвёртая. Земляки	65
Глава пятая. Горсть земли	119
Глава шестая. Прокудины	128
Глава седьмая. Сростки	153
ДУША БОЛИТ	177
Глава первая. Жалостливый	178
Глава вторая. Параллельные	199
МЫ, КАК КИНОАППАРАТЫ	234
Вершины	234
Мурашки по спине	240
Мы всегда будем жить	244
РАСПЯТЫЙ	250
ЧУДО ВОСКРЕШЕНИЯ	277
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Кадры из любительского фильма Нина Веселовой и Юрия Половникова «Воспоминание в октябре», 1980 год	
2. Кадры из любительского фильма Нина Веселовой и Юрия Половникова, снятого в Сростках, 1982 год	
3. Фоторепортаж со съёмок документального фильма «Калина горькая», «Вологдафильм», 2014 год	

Приложение 1



























Приложение 2























Любительские фильмы восстановлены на студии «Вологдафильм»
Андреем Петровским и Владимиром Самохиным

Приложение 3

Фотографии Анастасии Астафьевой



Река Шексна в районе Богнемы



Паром на Шексне



Водитель, высади пассажиров!



На берегу у деревни Десятовской убийц Егора
Прокудина настигла расправа



«Прошло столько лет, чего вы хотите?! – Вы капитаном, говорят, были. Он с вами разговаривал!
– Ну и что? Артист как артист.
Откуда я знаю, какой он был?»



«А теперь расскажите, пожалуйста, как самосвал
вытаскивали!»



«Дак как? Паромом подвёл его на мелкое место,
потом его «Уралом» вытянули, вот и всё»



Тихий вечер на Белом озере



Обводной канал вокруг города



Торговые ряды в Белозерске, возле витрины которых прихорашивался Егор Прокудин



«Наш пароход снимали, «Метеор»... На Шексне машина туда, в воду... Старушка там снималась, в деревне...»



«Я молодая тогда была!»...



«Как перестройка стала, наше кафе закрыли, перепродали... А тогда Шукшин у нас всё кашу манную ел утром. Кашу манную всё закажет и молоко!»



Ферма в деревне Орлово, на которой, по фильму, работала Люба Байкалова



«С фермами это пошло, когда стали все деревни свозить в кучу. А когда спохватились, то уже поздно было. Так всё оно и стало разрушаться...»



«А тогда поле пахали специально для фильма? – Нет. Оно пахалось не для фильма. Мужчина наш пахал. Он выскакивал из трактора, сажали Шукшина и снимали»



«На том поле я брала саженцы и по её просьбе отсыпала на Алтай с надеждой, что будет аллея шукшинских берёзок возле колонии»



«Его публицистика открывает то, что вроде бы знаешь, но не очень в это веришь. А он в очередной раз говорит, что – да!!»



Старожилов деревни Тимонино не испугал и дождь



Золотая осень в окрестностях деревни Садовой



«Я тогда киномехаником работала, фильмы крутила... А теперь уж мы последние, кто видел, как «Калину красную» здесь снимали!»



Уличка в деревне Садовой



В этом доме теперь располагается филиал Белозерского краеведческого музея под названием «Стоп-кадр». Кроме предметов старинного крестьянского быта, в нём есть экспозиция, посвящённая съёмкам «Калины красной»



«А раньше яблоней-то много у нас было, все цвели в аккурат. Так они на стреле съёмки-то делали, стрела кверху»



И следа не осталось от тех яблонь...



Так сегодня выглядит дом, в котором, по фильму,
жили Байкаловы



«Нет моего хозяина, на рыбалке!» ...



«Пойдёте по тропиночке, вот эта баня поперёк и
стоит... А мосточек тех нет уже...»



Баня на месте «той самой», киношной



К озеру...



На этом колодце сиживал Василий Макарович...



Журавли улетают



Другие мостки...



Но то же озеро...



И тот же покой



«Офимья попросила, чтобы я свозил её на премьеру фильма...»



Не узнать сегодня обиженный дачниками дом
Офимы Быстровой



Помните, как доверчиво смотрела она в фильме из
этих окон, переходя от одного к другому?



«Поеzdete к церкви, а там слева тропочка есть, и увидите, написано на могилке, и фотокарточка есть!»



Лесное озеро



Церковь Рождества Богородицы конца 18 века



Где-то здесь был тот холмик, на котором рыдал Егор Прокудин после встречи с матерью



Последнее пристанище артистки из народа



Она не играла свою роль, это была её жизнь...



«Есть за людьми, я заметил, одна странность:
любыят в такую вот милую сердцу пору зайти на
кладбище и посидеть час-другой... Вольно и как-то
неожиданно думается среди этих холмиков»



«И стоит в зелени белая красавица – столько лет
стоит!» – молчит. Много-много раз видела она, как
восходит и заходит солнце, полоскали её дожди,
заполнили снега... Но вот – стоит. Кому на радость?»



«Просторно, гулко в церкви...Лёгкий ветерок чуть
шевелил отставший, вислый лист железа на маковке,
и шорох том, едва слышный на улице, здесь звучал
громко, тревожно»



«Из старого склада из церкви вывезли пустую
бочкотару, мешки с цементом, сельпоские купы с сахаром-
песком, с солью, вороха рогожи, сбрую... мётлы, грабли,
лопаты... И осталась она пустая церковь, вовсе теперь
никому не нужная. Немая»



Литературно-художественное издание

Нина Веселова

КАЛИНА ГОРЬКАЯ

Книга о жизни и творчестве
Василия Шукшина

Фотографии с плёнок и из архива Н. Веселовой
E-mail автора kineya@yandex.ru

Подписано в печать 01.07.2014 г. Формат 60x84/16.

Усл. п. л. 19,3. Тираж 1000 экз. Заказ № 781

Отпечатано: ООО «Вологодская типография»
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, корпус Н



9 785902 579670

A standard 1D barcode is positioned at the bottom center of the page. Below the barcode, the numbers 9 785902 579670 are printed in a small, white, sans-serif font.